

Nicolas Vokov | Николай Боков

ПИК ДОРТЕИ



Пик Доротеи

Le Pic Dorothée

Ils se réunissent peu à peu, les personnages du récit, dans cette maison près du lac. Les deux sœurs, une Dorothée rêveuse et encline à philosopher, et Nora, une aventurière, sportive et craquante, qui s'intéresse à l'ami de sa sœur, Klaus, un vagabond, auteur d'un mystérieux livre chef-d'œuvre inachevé. Lors de leurs promenades, ils aperçoivent, avec amusement, une montagne pointue qui porte le nom de Dorothée...

Très vite, un mécène éclairé s'immisce dans ce cercle, Léo Stätter, un mélomane et notable de la ville si agréable et si propre située au bord du lac à l'eau claire, riche en poisson et en cygnes qui ont construit d'ailleurs un nid pas loin de la maison de Klaus, comme s'ils voulaient donner un exemple de la vie familiale aux humains. Léo est aussi un amateur de culture russe, enthousiasmé par le premier spoutnik, mais refroidi ensuite par des nouvelles sur le goulag. Un couple d'origine russe, la pianiste Nadège et son terrible frère, sont là, car Léo cherche une mère pour son futur héritier. Un chef d'orchestre de génie, Mekler, accompagné de sa fidèle économiste et amie, Élise, complète cette petite société exquise.

C'est autour du concert anniversaire de Mahler, lors des préparatifs, que se déroule la première partie du récit. Dorothée en est la vedette malgré elle, Mekler la promeut sur l'avant-scène en qualité de Muse. Mais c'est Klaus qui occupe ses pensées, c'est à lui qu'il revient de dénouer le drame de la jeune femme dont seule Nora connaît le secret... Élise, vigilante et impuissante, veille. Le frère de Nadège, un « nouveau Russe » nommé Karnahumbaev, cherche à acquérir une montagne locale, mais les citoyens l'orientent plutôt vers l'achat d'une équipe de rugby en Australie, pour ranimer la vie sportive dans le pays. Quant à Nora, elle provoque gentiment Klaus et attend un geste décisif, avec la permission de sa sœur...

Car Nora part au Brésil pour un projet caritatif. Tous trois restent la nuit dans le domaine familial des sœurs à Zürich. Nora partie, Dorothée disparaît, Klaus, seul, parfois angoissé, terrifié par les détours que l'amour peut prendre, passe une nuit de révélations dans cet immense hôtel particulier vieux de deux siècles...

Николай Боков
ПИК ДОРОТЕИ

повесть



Franc-Tireur
USA

The Peak of Dorotea
By Nicolas Bokov

Copyright © 2012 by Nicolas Bokov

Cover design by the Author & Publisher

All rights reserved.

ISBN 978-1-105-80824-1

Printed in the United States of America

ПИК ДОРОТЕИ

1

«Начать с жалобы, что не спится, не естся, не пишется, — писал Клаус Д. в толстой синей тетради. — Постепенно войти в подробности, заметить интересные повороты, — и рассказывание продолжится само собой, уподобясь езде на велосипеде».

После первого усилия поймать равновесие, почувствовать движение воздуха, ощутить слитность тела с машиной. И уже строить некие планы: захотеть достичь знакомого места, вида... чтобы внизу простиралась долина. И горы на той стороне тонули бы в голубоватой дымке. И еще несколько домиков на склоне, в которых настоящая счастливая жизнь.

«Скажут: это мечта, — записывал Клаус. — А я, однако, надеюсь, что свойство сие есть у обитателей села, на которое я смотрел вчера с перевала, поднявшись по крутому склону, задыхаясь от усилия ног и всего тела, приподнимаясь в седле и думая, что вот-вот не выдержу и сойду на землю. Вдруг исчезла всякая трудность, упорство закончилось.

Долина зеленой травы, цветов, деревьев, добротных домов, гор — и среди них несколько снежных вершин. Одна из них называется пик Доротеи, сказал мне житель этих мест Оберхольцер, праправнук настоятеля еще действующего монастыря».

Ночь. Клаус Д. просыпался, вынимаемый из сна далеким телефонным звонком, и надеялся, что кто-нибудь подойдет, снимет трубку — и мучение прекратится, тем более, что звонок не к нему, он жил в этом месте недавно и номера своего сообщить никому не успел.

Звонок оборвался на половине, и его сменил тотчас испуг: он не ответил, а звонил кто-нибудь близкий, у которого что-то случилось.

Ожидание продолжалось во сне. Звонок телефона встревожил — сначала тем, что он был, а затем — тем, что он на него не ответил. Ибо есть несколько жизней, связанных с его собственной. Верно и обратное: его жизнь связана с жизнями других людей.

Наутро захотелось услышать знакомый голос, и в нем — нотку радости: ах, это ты! Объявился!

Клаус завозился с телефоном, современным и сложным. Никак не получалось попасть на международную линию. Гельвеция не выпускала его, механический голос предлагал набрать номер в другой раз или справиться в телефонной книге. Наконец, удалось.

— Алло, Доротея?

— Ах, Клаус! Объявился! Куда ты подевался? — женский голос говорил с теплотой, с той бархатистостью, которая для мужчины почти поцелуй.

— Доротея, ты приедешь ко мне?

— А ты далеко?

Доротея захотела приехать, потому что, догадывался он, ей давно хотелось уехать.

Она отправилась за билетом на поезд.

Клаус тотчас заметил, что его существование — весьма комфортабельное в настоящее время — прибавило в легкости и разноцветности. Предстоящая встреча наполнила его энергией, упругостью, силой. Новые идеи теснились у входа в сознание.

Встала над озером радуга.

Он немедленно надел *баскетки* — вид спортивной обуви, русским еще не знакомый, — и покинул коттедж для бега трусцой.

3

Поначалу он одиночеством наслаждался. Мысли текли непрерывно, он их записывал поспешно, удивляясь и радуясь, и приписывал изобилие их свежему воздуху гор и дыханию чистой воды.

Спустя время он был непрочь перемолвиться словом привета, обыкновенным *бонжур* или *грюци*, и поездки на велосипеде в город, за хлебом делались все насущнее и насыщеннее. Он испытал приятное чувство, увидев на толстой сосновой балке стропил — спальня располагалась под крышей — темную шевелящуюся ленточку. Приблизившись, он обнаружил ручеек муравьев: они проложили дорогу и неустанно бежали туда и обратно. Проследив, Клаус увидел, что целью забот были крошки на кухне.

По окончании рабочего дня ленточка замирала и вновь приходила в движение на рассвете. Как у людей! — восхищался Клаус. В первое время этого общества ему вполне хватало.

Он им помогал. Он забавлялся тем, что насыпал на подоконник горку манной крупы. Муравьи окружили

манну в почтительном недоумении, а потом понесли. Их ленточка раздвоилась: темная в одном направлении, она лилась белым пунктиром в противоположном.

По обычаю своему, на новом месте он обратился к книгам. Авторы в крохотной библиотеке дома, стоявшего на берегу озера, были почти все незнакомые, язык их был чаще всего немецкий, не самый ему близкий, несмотря на загадочную к нему тягу. Он и начал с него в далеком послевоенном детстве, — в середине закончившегося недавно столетия. Изучение прерывалось на годы и не раз, и возобновлялось со страстью, удивлявшей учителей.

Метод Клауса — просвещенного варвара: он брал книгу, прочитывал наудачу половину фразы, треть или несколько их, — и ставил опус обратно в тесный ряд. Если ж сверкала мысль или образ, то книгу оставлял на столе раскрытыми страницами вниз, намереваясь позднее еще почитать — в надежде на радость открытия. На родственность в мире *belles lettres*, как называют литературу иные старомодные французы.

Множились книги, напоминая домики, шалаши. В каждом жила мысль или чувство.

Он перечитал с удовольствием: *der Atem des Zeitgeistes ist nicht von Dauer*. Сказано кстати. Лекарство от беспокойства, — ибо связь с современниками казалась нашему «герою» подчас эфемерной. И вот живой автор, написавший нечто, под чем он сам готов подписаться. Родство душ, мостик к взаимности, отдых от бега трусцой. Он пробовал перевести: *вдох духа времени недолог... короток? неглубокий?* Гм.

А вот закрывать глаза не годится, хотя бы он и оправдался туманом густеющим, искажившим перспективу и скрывшим горы. Не попытаться ли его разогнать призыванием ветра по имени *Фён*, подарившего дамам прибор для высушивания волос? Рядом не было слушателя, чтобы проверить на нем, удачна ли шутка.

Клаус записывал:

«Отныне ты не вникаешь в рассказы о чужой жизни, откладываешь их в сторону, не берешь в руки пересказы чужой реальности;

все выбрасывается, и забывается о выброшенном...»

Клаус был благодарен: за эту остановку в заботах о жилище и пропитании.

За громаду гор, вызвавшую мысль о *ничтожности*. Возможно ли подобное чувство, если душу не осенило Великое?

«Умалившийся, ты в тени Всевышнего: жди подарка Его, которым ты будешь питаться годы. Бойся странного чувства всемогущества и величия в мире, — тебя поставил кто-то другой на краю».

В тумане слышался скрип уключин. Переговаривались невидимые утренние гребцы. Покрякивали утки и бархатно бормотали супруги их селезни. Водяные курочки вскрикивали. Проверить, все ли в порядке у лебедей, свивших гнездо возле ангара для лодок.

Однажды утром он застал лебедя-мать за переворачиванием яиц и сосчитал, что их шесть, больших зеленоватых. С тех пор он здоровался с нею на местном наречии — *грюци!* — и она уже клюва не вынимала из

крыла и не шипела. Супруг, пребывавший на рейде, начинал воинственно плыть в его направлении и вдруг узнавал Клауса, и останавливался.

Лучи солнца пробили туман, тепло усилилось и ощущалось спиной и шеей.

5

У всех всё есть, и главное в том — помещенность в среду, в ткань, поддерживающую отдельную нитку по имени Клаус, по фамилии Д.

С этой основой можно рискнуть путешествовать по земле и во времени, питая любопытство, а то и восхищаясь невиданным чем-то в наших краях.

Вообразите себе встречу со Львом Николаевичем Толстым, бывавшем в городе сем, возмущившемся чистотой и раздельностью состояний: едва не побил он гарсона роскошного ресторана, не пускавшего — да что там! всего лишь посмотревшего неодобрительно на — уличного певца, которому Л. Н. Толстому хотелось сделать добро, накормив его знатно.

— Здравствуйте, Лев Николаевич! — сказал неожиданно Клаус в спину прохожего.

Господин в тирольской шляпе с пером повернулся и произнес с заметным акцентом, но не портя русских окончаний:

— Мое отчество Рихардович. Мы, значит, знакомы?

Он смотрел с любопытством, и это живое чувство, столь редкое в наше время в прохожем, Клауса увлекло, и он улыбнулся:

— Мне кажется, господин, еще четверть часа — и я ответил бы утвердительно...

— Вы живете в этом отеле?

Клаус обернулся прочесть название — *Швайцгофер*, — хотя ответил бы и так отрицательно, и сказал:

— Нет.

Лео Рихардовича это не смутило. Последовал разговор двух знакомящихся в немецкой Гельвеции людей.

Лео был винодел, точнее, принадлежал к богатой семье виноделов, начавшей свое восхождение в мир крупных сумм и состояний со службы предка, юного Штеттера, в гвардии Людовика, французского короля, праправнука короля-солнца. Там Альберт и сложил честную свою голову, защищая Тюильри от санкюлотов Парижа.

— Его имя выгравировано подо Львом, — сказал Лео, имея в виду знаменитый монумент и памятник швейцарским наемникам. Солдатам отличным: небольшой их отряд стоил — как в моральном, так и в финансовом выражении — полка любой другой европейской армии.

Лев памятника умирает от копья, вонзившегося ему предательски в бок.

Солдатский оклад и стал капиталом первоначальным капитана Штеттера, — кстати, дальнего родственника и музыканта Грегора Меклера, о котором скоро пойдет речь. К скромной сумме прибавились по прошествии времени виноградники, пастбища, маслобойни, обувные фабрики, отели, выборные должности и банки.

Сам Вагнер бросил на его внучатого дядю благосклонный взгляд, точнее, на племянницу дяди, но композитора отбил другой меценат, знаменитый и

утонченный. Теперь Лео — потомок-рантье — посвящал себя всецело культуре: организации фестиваля комиксов, разведению лошадей и изучению русского языка, начатому после первого *спутника*, но не доведенному до конца, поскольку впоследствии из-за спутника — веселый бип-бип — оказался жестокий *гулаг*.

Обменявшись координатами, они простились.

6

Звонок Клауса Лео не влиял, конечно, на приезд Доротей (как пишут в местной газете «Голос Улицы», рассказывая подлинные истории, *имя персоны изменено*). Их зимнее знакомство и последовавшее развитие показалось удачным. Приглашение Клауса она приняла с естественностью, с удовольствием, — оно угадывалась за ее сдержанностью.

Доротей вообще не склонна была обнаруживать чувства; по некоторым жестам Клаус только догадывался о ее мягкости, ранимости и доброте. И если он не сразу распознал сердечность Доротей (*имя персоны изменено*), то потому, что и выражение ее чувств отличалось значительно от обычного. Она показалась ему несколько бесчувственной, хотя ведь ее неторопливость могла означать всего лишь ее независимость от навязанной кинематографом поверхностной *выразительности*.

Едва они вошли в дом, вкатив ее чемодан на колесиках, как хлынул ливень. Их охватила радость удачи избежавших опасности, а удар молнии и грома сблизил их окончательно: Доротей прижалась к его

груди. Она не препятствовала ему увлечь ее в кухню, потом и в салон, однако тактично уклонилась от немедленного осмотра спальни.

В конце концов, Доротея поддалась на его уловки, — Клаус звал ее полюбоваться из окна второго этажа видом на озеро и на гору, на которую взошел 235 лет тому назад великий Гете и сочинил знаменитое стихотворение русского поэта Лермонтова, «Горные вершины спят во тьме ночной» (*Über allen Gipfeln ist Ruh'...*)

Она уступала, но сдерживала его порывы, подчиняя своему ритму, своей неторопливости. Достигнув Евиной рощи, он ощутил влажность и приятное гостеприимство... (не слишком ли откровенно... если он решится обнародовать эти странички, то не лучше ли показать их сначала Доротее?)

Что-то заставляет тут задержать занавеску, — интимное человека сопротивляется излишнему освещению, требуя *освящения* темнотой, без чего невозможно творение нового человека.

Право, не хочется уходить... слышны возгласы, протесты стыдливости, смех, стоны и *нет*, значащие *да*. Бушевавшая за окном гроза, потоки воды, обрушившиеся на крышу, белый блеск молний усиливал их отрезанность от мира, подчеркивал уют сухого теплого места человеческой встречи.

7

Порыв ветра разметал листки этой повести по лужайке, среди пасущихся овец, — ее арендовал для своего небольшого стада соседский фермер Бруно.

Вмешательство стихии воздуха, презирающей порядок повествования! Автор поспешно пролез на лужайку под проволоку (*без колючек*: отметим эту фундаментальную для прошедшего века деталь), чтобы собрать первые шесть глав. Овцы, встревоженные вторжением Клауса на их территорию, жалобно бляя, гурьбой побежали в дальний угол.

Доротейя смотрела — а впрочем, ее глаз он не видел за черными блестящими очками. Голову она поворачивала. Один листок залетел в чашу фонтана с водой, затянутой ряской, и окрасился в зеленоватый цвет.

Доротейя не любит, думалось ему, нарочитой небрежности современной женщины в одежде, обязательно показывающей тесемки и резинки, соблазняя *tous azimuts* (всех и вся).

Однако в самом ее облике ничто не звало вождедель. Ее эротическое копилось иначе: в молчании, в неторопливости жестов, в беззаботности, в непривязанности к месту и человеку. Присвоив тонкую руку ее, хотелось ей любоваться, осваивать дальше, подстегиваясь не желанием, а любопытством.

В тот день ее тянуло на волю.

— Нельзя ли пойти подышать, погулять, — сказала Доротейя, выскальзывая из объятий.

Разумеется, Клаус поддакнул, довольный саморазвитием ситуации, тем, что можно перестать быть двигателем и вернуться к беззаботной созерцательности. Они двинулись в сторону города вдоль кромки воды, почти не тревожа полчища уток, лебедей, воробьев. Особняк музея знаменитого (в прошлом — слава тевтонского меча и хора!) человека и

композитора, отца своих детей и мужа своих (да и чужих) жен, был окружен лесами ремонта. К счастью, бестактности гения забываются с первыми тактами оперы «Три стана».

Доротея, однако, осталась весьма холодна к этой страничке истории Европы, как, впрочем, и он; но он вменял себе в обязанность осведомленность, хотя грубость звучаний и поступков героев опер, да и самого музыканта, ему претила.

Путь пешком оказался длиннее, чем он предполагал, оценив расстояние с точки зрения велосипедиста, для которого трудность подъема на гору забывается в сумасшедшей скорости спуска.

Постройки делались все значительнее и гуще, город вступал во владение пространством, заслоняя озеро и закрывая доступ к нему участками частных, граждан особо влиятельных и ловких.

Показался, наконец, ресторан с верандой, и Доротея захотела усесться там с чашкой чая, а потом настала пора позднего завтрака. Съедены были «сердца св. Жака», по-русски Иакова, то есть моллюски, живущие в плоских раковинах, напоминающих формой и складками восходящее солнце и его утренние лучи. Они стали в средние века эмблемой паломников в Компостелло.

Сердца св. Жака — блюдо весьма деликатное и относительно дорогое. С тех пор Клаус называл себя, шутя, сердцеедом, пока не приелось.

Рука Доротеи, державшая меню опираясь локтем на стол, поразила его красотой, тонкостью, хрупкостью. Легкий ветер шевелил каштановые пряди ее волос. Его

сердце сжалось от жалости странной, отозвавшись на скопившийся опыт прощаний, разлук, утрат. Вслед за этим пришла нежность, и они посмотрели друг на друга особенно. Ее ресницы пошевелились.

— Славное место, — сказала Доротея. — Тебе нравится здесь?

8

От нее веяло тайной. На вопросы не отвечала она, даже на те, которые он считал важными, когда лишь догадывался о значении ее восклицаний и жестов, и хотел уточнений, полагая, что от этого зависит ее удовольствие им и, следовательно, их отношения.

Она обходила вопросы молчанием и улыбалась, переводила разговор на иное, на нечто многозначительное. Словно она не верила в маленькие *приноравливания* (позволю себе маленькое заимствование у моего почти однофамильца) друг к другу, — о них не думает юность, писал Пушкин, спешащая к финальному содроганию, — но все более хрупкое с возрастом тело зовет к осторожности. То, что Клаус предвидел, наступало: порывы Доротеи к нежностям стали слабеть, тон становился распорядительным.

Возможно, впрочем, это была обычная эволюция: начинается близость, неправда ли, с подражания друг другу, со слияния в первобытное существо о двух головах, — потом оно разделится на мужа и жену, как учил Платон еще в университете, не считаясь с победою Дарвина.

Ее молчаливость передавалась ему, — после их встречи — после ночи, ночей, проведенных вместе —

он спешил записать свои впечатления и в затруднении откладывал перо. Можно бы подумать не без основания, что поэзия покидает нас после осуществления основного намерения поэта — овладения предметом вдохновения. Ибо петь тогда не о чем; поют, привлекая, а потом зачем же и петь? Любви песенка спета. Нужно ждать, пока снова накопится порох в пороховнице.

А Клаус становился болтлив рядом с нею, — вот он, литературный рефлекс! Доротея вежливо ожидала, однако он успешно вывел ее из себя, засмеявшись: он вспомнил ошеломление фермера Бруно.

— Ну, что ты так глупо смеешься? — сказала она улыбаясь, шутливо ударив его по руке ладонью, раздвинув веером пальцы.

— От счастья люди глупеют! — подлизывался Клаус.

— А поглупев, делают еще счастливее, — не сдавалась она.

— И становятся еще глупее...

— И еще счастливее...

— И еще глупее!

— И когда счастливее быть невозможно, достигается абсолютная глупость.

— И абсолютное счастье.

— А абсолютное непрочно.

— И это первая мысль, которая начинает портить абсолютное счастье.

— И абсолютную глупость.

— Что-либо неабсолютное, сопоставленное с абсолютным, рождает мысль о несовершенстве.

— Рожденная мысль бьет по абсолютной глупости.

— И скоро уже не до смеха...

После такой пикировки, достойной теннисного матча, они замолчали. Диалог их утомил, омолаживая.

Возраст преклонный, заметьте, молчалив по другой причине: что уж тут говорить, все ясно и так... но что именно? Время иллюзий кончилось, сообщение оказалось непонятым. Природа продолжает свой путь, Создатель так и не показался. Священники трясут бородами. Но — теперь это знаем — лучше бороды их, скучноватые, чем волосатые руки убийц. В этом-то и урок русской истории. Прочь, безбожники, ваша борьба против опиума для народа завершилась братской могилой.

Тихий сон Доротеи сливался со звуками ночи: с легким плеском воды озера, с миганием маяков, с очертанием горы возлюбленной Гёте.

Осторожно он удалялся на нижний этаж, чтобы там зажечь лампу, — дочитать, наконец, итальянскую книгу о любви немецкого философа к своей еврейской студентке. Неожиданно он поразился, насколько далеко от античного современное представление о морали. Ныне вовсе не обязательно соответствие поступков и взглядов. Можно идти за колесницей тирана ради пищи и ласок, а потом уверить всех, что вставлял ему палки в колеса.

На миг показалось, что в дверях стоит привидение, но вздрогнуть он не успел: то была Доротея в короткой ночной рубашке. Света лампы хватало, чтобы блестели ее загорелые колени, а васильковый бордюр подола усиливал их притягательность.

— Я проснулась от жажды, — сказала она.

Подойдя, она положила ему на темя маленькую руку, и ощущение ласки потом таяло медленно, когда он остался один, а скрип ступенек затих.

9

— Я ведь рассказывала тебе, почему же ты не помнишь? — спрашивала Доротея как бы упрекая, но ее голос звучал спокойно, без тени досады. Озадаченный, он проверял склад памяти. Этого случая из жизни Доротеи там еще не было. Вот ее печальный Нью-Йорк, отчаяние, одиночество, единственный номер телефона, по которому можно бы позвонить... Мужчина, с ней сердечно заговоривший.

Поначалу Клаус пробовал возражать, защищая, так сказать, честь своей внимательности (и заодно опасливо проверяя, не портится ли уже и память, мотор и сокровищница, без которой писатель — бедный клиент богадельни).

Неожиданно он понял причину и почувствовал нежность: по-видимому, Доротея мысленно с ним разговаривала, а потом ей казалось, что то или это она рассказала ему наяву. Одиночество некоторых людей велико настолько, что им некому пожаловаться на него.

Присутствие Доротеи было подстать обстоятельствам, временным, разумеется, как и всё в жизни писателя: новый день продолжал предыдущий, и вновь полновесный, без звонков будильника и телефона, без жужжанья компьютера, без официальных конвертов, из которых состоит почта бедняков, приносящая угрозы и поборы всякого рода. Бедность отступила

тогда на несколько месяцев, и они казались нескончаемыми.

— Я еще поживу у тебя, — произнесла она, насмотревшись однажды вдоволь на картину полудня: лодка почти не двигалась посреди залива, ветер лениво шевелил ее повисшими парусами, мелкая рябь воды сверкала на солнце. Голубоватая дымка висела.

Ее намерение было ему по душе. Впрочем, если б она объявила другое решение, ему в голову не пришло бы ее уговаривать и удерживать: край, берега и люди дышали свободой, здесь ничего не было своего, — и у Клауса прежде других.

Доротeya взглянула:

— Опять ты глупо смеешься!

— Люди от счастья глупеют...

— Сколько же можно глупеть?! — возмущалась она, улыбаясь.

— Быть счастливым — это беспредельно...

— Вот что я тебе скажу: ты просто хвастаешься! Ты, видите ли, такой умный, что тебе можно глупеть, глупеть, глупеть — и ничего!

— Гм.

— Столько смеяться — не пришлось бы плакать!

— От плача люди умнеют...

— У тебя от всего польза!

От спора их отвлекла сцена на озере: с лодки махал рукой человек, а потом послышался удар в корабельный колокол, предназначенный им, несомненно. Взяв бинокль со стола — Клаус использовал его как пресс-папье, — и поймав фигурку в поле зрения, он тотчас узнал Лео Штеттера и помахал ему в ответ.

Кораблик задвигался, поймал парусом ветер и заскользил к берегу.

Нельзя сказать, что Клаус обрадовался пополнению общества его и Доротеи. Они еще не насытились друг другом. Однако день созрел, послеполуденная лень призывала к сиесте. Бесплодные часы хорошо занять несложным разговором и чашкой чая.

— Я догадался, где вас искать! — Лео Штеттер прыгнул на низкий парапет, обрезавший сбегавший к озеру склон; волны бились о него в непогоду, и за долгие годы этой работы вымыли в цементе ямки и смыли углы ступенек, спускавшихся к воде.

— Эти места я знаю, как свой карман, — продолжал он, подходя. Он был в парусиновом костюме и наброшенной поверх капитанской куртке.

— Ах, вы не одни, — сказал Лео, еще не кланяясь Доротее и ожидая, что Клаус представит его. Иначе ему пришлось бы извиниться и откланяться. Клаус назвал имя Штеттера, и его подруга... (не слишком ли много он о себе воображает?) протянула руку так, как умела сделать: приветливо и равнодушно, ни на миг не преступая невидимой черты приличия. Впрочем, и Лео воплощал собой куртуазность. Ему предложили напитки; он отказался.

— Мне случается навещать вашего соседа, моего дальнего родственника, — сказал Лео. — Видите вон тот лесной участок, за домом фермера... кажется, Бруно? Там прячется вилла Грегора Меклера, дирижера. Видно, что имя вам незнакомо? Видите ли, он не очень известен за пределами наших кантонов, но мы его любим.

Разговаривая, Штеттер обращался чаще к Доротее, спохватываясь, отправляя фразу и Клаусу, и потом опять его уводило в сторону прекрасного пола. Он стал приглашать их в свои виноградники, ближние, как он выразился, где виноград хотя еще и зеленый, но виды на гору Пилатус прекрасны. Из *ближних* естественно вытекало, что есть еще и *дальние*. Но и ближних виноградников был выбор: здесь, или за озером, или на южном склоне.

Остановились на Шлиссенберге, — вид оттуда не самый пленительный, но все-таки живописный, а во-вторых, там находятся погребя и винодельня. И когда же? Например, завтра? Почему бы и нет... что ж, очень хорошо, что завтра. В этот миг заиграл Моцарта телефон Доротеи, и она удалилась в соседнюю комнату.

Они поговорили о дирижере, наметили поход и к нему, и тут Лео позволил себе вольность: он поднял с видом учительным палец и произнес:

— Доротейя — красивая женщина.

Клаус невольно фыркнул и улыбнулся, понимая его чувства. В этих краях суровый Кальвин не успел вытеснить католицизм, а за Великим Перевалом началась Италия со своим жизнелюбием Ренессанса. Доротейя вернулась озабоченная, и Штеттер откланялся, так и не установив день посещения погребов Шлиссенберга и музыканта Меклера.

— Мы созвонимся, — сказал Клаус, улыбаясь.

— Мой дорогой Клаус, не знаю, как быть, — сказала Доротея. — Моя сестра просит о встрече. Она уезжает в Рио. Она сейчас в нашем доме, в Цюрихе. Мне ехать не хочется... — колебалась она, подсказывая ему паузой возможность иного решения.

— Почему бы ей не приехать сюда, — благодушествовал тот. — Места достаточно.

— Ее зовут Нора, — сказала Доротея тоном последнего довода против.

— Что ж, Нора... что-то от Ибсена, почти Чехова... Играть так играть! — пошутил.

Нора в приглашении не сомневалась, и ответный звонок Доротеи застал ее уже в поезде. Пришлось поторопиться с *бранчем* и им.

Минута в минуту пришедший автобус их подхватил и повез по дороге, повторявшей изгибы горного карниза. За зелеными рощицами прятались виллы, оповещаая о своем присутствии крепкими ухоженными воротами. Поблескивали объективы камер слежения. А внизу расстилалось синее озеро. Дальше стояли горы, и за ними высились заснеженные пики. Один из них носил имя спутницы Клауса.

Они ехали среди высоко стоявшей травы, еще не скошенной, и он предвкушал аромат будущего сена.

Точен был поезд, да и они входили в вокзал, едва локомотив, засопев, заскрипел тормозами. К третьему вагону они приблизились, когда пассажиры уже сошли на платформу и на площадке показалась стройная женская фигура. Прежде лица Клаус увидел колени и бедра, обтянутые фиолетовыми колготками. Короткие

шорты их не скрывали. Нора сбежала по ступенькам — нет, спрыгнула прямо на шею сестре. На ногах у нее были *баскетки* — не пора ли ими заменить надоевшие всем *кроссовки*? Нора носила светлую безрукавку *тишшортку* и еще небольшой рюкзачок.

— Как я рада! — кричала она, смеясь и заражая улыбкой сестру, Клауса и проходивших мимо кондукторов, — один обернулся и одобрительно пощелкал компостером. Ростом с сестру, похожая на нее тонкими чертами лица, она разительно отличалась темпераментом. Удивительно — хотя почему же, собственно, — что она была старше Доротей на два года.

Нора обняла и Клауса со всем пылом почти родственницы, и это не было неприятно. Доротея сдержанно улыбалась, а потом нарочито взяла его под руку, идя по платформе и оказавшись между сестроу и им.

— Я еду в Рио! — сообщила Нора, наклоняясь вперед, чтобы лучше его видеть. — А как вы тут живете? Вы любите бегать? Велосипед у вас есть? А для меня?

В одну минуту она задала столько вопросов, на которые Доротее понадобится год.

— Чудесный город! Никакой промышленности! Чистый воздух! — радовалась она.

— Здесь говорят: наши фабрики — это отели, — сказала Доротея.

— А наши станки — это кровати, — подхватила Нора, смеясь. — И нет драгоценнее музыки, чем храп постояльцев!

Клаусу хотелось заговорить, но почему-то стеснялся.

— Классическая здесь тоже в почете, — придумал он, наконец. — Саша Апрельский, например, играет почти каждый вечер.

Автобус огибал, поднимаясь, гору и выехал на плато. Синее озеро расстилось внизу, справа поднимались горы, а за ними еще другие, и, наконец, снежные вершины закрывали горизонт. Пассажиры притихли при виде такого пейзажа.

— Вон та гора носит имя вашей сестры, — сказал Клаус.

— Какая, где?! — воскликнула Нора. — Вон та?

Но не успела: автобус ринулся вниз с перевала, глотая виток за витком, ввинчиваясь в пустоту, их бросало то влево, то вправо.

Потом они спускались уже пешком к берегу мимо внушительного особняка, мимо огромной секвойи (Клаусу все хотелось определить ее возраст, но он не умел). Симпатичный фонтан они миновали, украшенный зелено-бронзовой статуей купальщицы, которую сталкивал в воду мальчуган, а она улыбалась, стараясь сохранить равновесие. Лишь приглядевшись, замечал рассеянный зритель, что вместо ножек у мальчугана копытца, а из спины уже выглядывает маленький — по возрасту — хвостик.

Нора немедленно устроилась в комнатке, называемой официально «багажной», — примыкавшей к кухне, с окном небольшим и видом на дуг. Комната для гостей ей не понравилась, — слишком велика и пуста. Некоторое время она постояла на веранде, держась за столбик, подпиравший козырек, и потягиваясь — вытягиваясь еще. Взгляд Клауса притягивался устре-

мившимся в высоту стройным телом. Вдруг она побежала вниз по ступенькам, а потом гравий дорожек захрустел под ее быстрыми шагами. Городские туфли были сменены на розовые баскетки.

— Она добрая, — сказала Доротея, подойдя неслышно сзади. — И смелая.

Было еще что-то в ней. Клаус вскоре заметил, что он и Доротея прислушиваются — не сознавая, стремясь уловить, в какой стороне Нора и что она там делает. Они немедленно повернулись, когда услышали ее «эй-о!»: Нора стояла у фонтана с бронзовой купальщицей, маша им рукой, и затем немедленно скрылась в густой липовой аллее, обрамлявшей дорожку вниз к озеру. Через минуту она подбежала к ним, чуть запыхавшаяся, в шортах и тенниске (*тишшортке* по-нынешнему). Фиолетовых колготок на ней не было, да и нужды в них тоже: колени и бедра лоснились загаром.

— Ты успела загореть, — сказала Доротея неопределенным тоном. В нем не было зависти, одобрения, порицания, и тем не менее она высказала суждение, в этом все дело.

— Три недели в Неаполе, — объяснила Нора.

Доротея вздрогнула и рот раскрыла что-то сказать, но промолчала.

Клаус мог сравнить головы двух сестер, оказавшиеся рядом на фоне голубого неба. Теперь похожесть их усилилась, хотя каштановые пряди Доротеи противоречили короткой стрижке Норы. Карие несомненно глаза младшей сестры — и зеленоватые слегка кошачьи старшей. Клаус чувствовал силу их притяжения — и был доволен, что присутствие Доротеи его защищает,

— хотя от чего же? «От прыжка пантеры», — сказал он себе, от мягких и упругих лап, раздирающих плоть, — были б сладки эти последние мгновения жизни? Он размышлял над значением этого странного желания подсознания, — быть убитым красивой женщиной. И не просто — растерзанным.

Они сидели в столовой, открыв окна на озеро. Нора болтала, перескакивая со своих впечатлений от места на поездку в Рио, и какой там замечательно интересный проект: купить лес — она член ассоциации — возделывать его по современным понятиям — создать школу лесоводства, привлечь местную молодежь! Так вот, у нее возникла мысль: не хочет ли Доротея участвовать в деле? Дивиденды, конечно, ей обеспечены, — ну, об этом они поговорят потом. А теперь — этот превосходный салат *листья дуба*! И замечательный сыр: швейцарский, конечно?

— Нет, итальянский.

— Клаус, мы будем на *ты*?

— С удовольствием, Нора. Правда, для обряда немецкого брудершафта у нас нет сегодня шампанского.

— Немцам будем должны, — засмеялась Нора, бросив быстрый взгляд на сестру. Доротея готовила клубнику к десерту, отщипывая зеленые хвостики.

— В этом году весна ранняя, теплая, похожа на лето, — сказала она. — Фермер на рынке говорил, что ягоды поспевают на грядках. Они вкуснее тепличных.

«На рынке?» — удивился Клаус. — Когда же Доротея успела там побывать... Впрочем, до города автобус довозит за четверть часа, а местный базар — достопри-

мечательность, перевозносимая в любом путеводителе. Ах, какие там редиска и эндивий!

Нора не вмещивалась в их отношения. Она скорее присоединилась к ним и дополнила смехом, исчезновеньями и «что она там делает». Клаус отправился на прогулку, оставив сестер для важного разговора о лесах в Бразилии, и постепенно возбуждение ушло. Он опять умилялся синему небу, солнечному блеску воды, и терпеливому лебедю, сидевшему в гнезде.

Белоснежная пара соорудила его из сучьев возле деревянного ангара на сваях, где хранились лодки. Птичья постройка казалась Клаусу хрупкой, но он говорил себе, что природный инстинкт верней Архимеда. Ангар огибал деревянный настил и завершался площадкой, маленькой пристанью. Здесь глубина начиналась, и Клаус приходил сюда любоваться зеленоватой прозрачной водой, почти столь же чистой, что и в море, с водорослями на дне.

Ему хотелось плавать, но вода обжигала, ледяная. Штеттер ему объяснил, что поблизости проходит течение Ройса — горной реки, впадающей в озеро и затем из него вытекающей. Она разрезала город на две неравные — во всех отношениях, и особенно в финансовом — части. Скромный, не слишком древний университет расположился в нижнем городе, — им еще учиться и учиться.

Наступало торжественное молчание вечера. Дом смотрел на восток, и заката видеть они не могли. Фиолетовые сумерки покрыли склон холма, парк. Силуэт бронзовой женщины вырезывался на фоне неба. Колокольчики пасущихся овец доносились

сельской музыкой, мирной. Нора ушла на берег посидеть на скамье. Озеро едва слышно плескалось о парашет. На противоположной стороне зажглись огоньки селения, и там вспыхивал и гас оранжевый маяк.

11

— Это вы, Лео Рихардович? — говорил Клаус в телефон, изображая шутливо немецкий акцент.

— Ja, ja! — откликнулся весело Штеттер. — Я плыву к вам. Я живая цитата — «белеет парус одинокий» — сегодня, однако, нет никакого тумана! Природа опять уклонилась от литературы! Это ей так не пройдет!

Доротeya смотрела в окно. Клаус, закончив разговор, стоял позади, глядя на тот же пейзаж солнечного весеннего дня. Раздавшийся визг заставил их вздрогнуть одновременно, они вместе высунулись в окно: Нора, визжа, плавала в озере.

— Вода ужасно холодная! — кричала она. — Идите скорее купаться!

Доротeya поежилась, а Клаус рванулся, на бегу снимая рубашку, и в воду вбежал, показавшуюся ему кипятком обжигающим. Нора плавала вдали, издавая звуки удовольствия, Клаус догнал ее, и они наперегонки поплыли за мыс, где устроена была беседка, покрашенная в белый цвет, а дальше виднелся ангар, *ботхаус*, со своей крошечной пристанью. Нора доплыла до ступенек, сходящих к воде, и вылезла из воды, сияя загорелыми бедрами, плечами, животом, спиной. Клаус за ней следовал и, взойдя на ступеньку и оказавшись рядом, вдруг потерял равновесие и упал

бы, если б не схватился за Нору. Она его поддержала. Мужчина совсем потерялся и обнял ее, но тут вышло иначе: женщина его оттолкнула, и сильно, он же не отпуская, и они вместе упали в воду. Нора боролась молча, но упорно, он держал поперек ее тело, забыв обо всем и о приличиях тоже, наслаждаясь упругостью сопротивления, и лишь когда голова его оказалась в воде, а Нора уперлась в нее руками, не давая высунуться и вздохнуть, Клаус разжал руки и ее отпустил, и нырнул, чтобы освободиться.

Нора стояла на пристани, смеясь, представляя случившееся шуткой, однако когда Клаус выбрался из воды и приблизился, она издала крик, какой слышен подчас в схватке японской борьбы, и, подпрыгнув, приняла позу обороны. Ноздри женщины раздувались, зеленые очи сверкали молниями. Клаус остановился, восхищенный, притягиваемый, ошеломленный.

— Тебе хочется тела, а не меня! — крикнула Нора, наступая. Теперь он отскочил.

Они вернулись по берегу, пешком через парк. Нора шла в отдалении, соблюдая дистанцию, и Доротей, заметив это и мысленно измерив, предположила какой-то жест сближения со стороны Клауса.

Чувствуя особенное внимание сестры, Нора притворно дрожала и делала «брр» губами, показывая, как ей холодно и что ее нужно бы пожалеть. Клаус исподтишка любовался ее быстрыми жестами, современной пропорцией узких плеч и тонкой талией, плавно расширявшейся в безупречный овал бедер. «Это кувшин, божественный кувшин наслаждения!» —

сказал он себе. Завернувшись в полотенце, она прошла мимо него совсем близко и скрылась в комнате.

— Ах, Нора, она всегда была самостоятельна в поступках! И первая! Никто не успевал за нею, — сказала Доротея. — Даже мальчики.

Колокол позвал их к окну: на озере белел одинокий парус Штеттера, и вскоре его кораблик заскрипел дном о прибрежные камни дна. Капитан легко соскочил на берег. К его костюму добавилась красная косынка на шее, какие носили моряки в девятнадцатом веке, и огромная в левом ухе серьга.

— Вы не одни! — воскликнул он, удивленный. — С каждым разом вас все больше!

— Вы в самом деле моряк? — спросила Нора, протягивая руку, не ожидая, чтобы кто-нибудь ее представлял.

— Мадемуазель, я капитан этого судна, — важно сказал Лео. Все повернулись посмотреть. — Позвольте представить: *швертбот Lermontoff*.

Ударение он правильно ставил, на *E*. И действительно, имя парусника было красиво выписано латинскими буквами, напоминавшими славянские.

— По нынешним правилам, следовало бы окончить на *тов*, — сказал Клаус. — *Off* звучит слишком по... американски!

— Согласен! — заулыбался Лео, довольный, что может проявить себя в нюансах русской души и истории. — Он у меня эмигрант *первой волны*, так благороднее... Я подумаю... Не пора ли Лермонтову оканчиваться на *тов*? Это точнее и... справедливее!

— И богаче аллюзиями, — добавил Клаус.

Опасаясь, что смысл разговора от дам ускользнет, он сменил тему, предложив гостю напитки. Тот отказался.

— Если *сказать вам всё*, — сказал Штеттер, употребив нарочито галлицизм, — я чувствую себя иностранцем в этой стране. А за границей — как дома! Вероятно, потому, что за спиной Швейцария... Странно, не правда ли? У вас так бывает?

Сестры переглянулись.

— Как вам сказать... — задумался Клаус. — Мне, признаться, везде одинаково. Впрочем, на новом месте мне всегда лучше: люблю эфемерность ожидания, что теперь-то будет всё по-другому... На новом месте я молодею.

— Нам предстоит посещение мэтра, — сказал Лео. — Иногда он молчалив, но не нужно смущаться, он вам рад, хотя сразу не видно: он интроверт! В семидесятых годах он искупался в лучах славы, это был его пик. Он оркестр возглавлял, однако постепенно сам отдалился и выступает нечасто. Когда чувствует вдохновение. И тогда его концерт — событие.

— Как же он управляет с домом? — заранее удивилась Нора.

— Не он. Фрау Штольц заведует его хозяйством и вообще всей административной стороной экзистенции... Как представляю себе эти безликие конверты с окошечками... — Лео передернул брезгливо плечами, да и Клаус поежился. — А она скучает без них: общество и государство разговаривают с ней таким образом... Она, впрочем, была неплохая флейтистка. Грегор ее у муз оторвал и присвоил. Сама виновата: сказала ему, что он гений.

Вблизи швертбот Штеттера выглядел настоящим кораблем с каютой и застекленной рубкой. Для отсутствия ветра конструкторы предусмотрели мотор.

12

— Входите, пожалуйста, — церемонилась фрау Штольц, равнодушно принимая подарки Штеттера, — бутылку отборного вина и круг сыра в приятной восковой оболочке. — Пойду извещу мэтра о вашем приходе.

Они находились в салоне, окнами выходившем, конечно, на озеро. Дом дирижера располагался значительно выше по склону, и пейзаж открывался дальше, синий цвет воды был ярче. Легкий сквозняк вносил ноту гулкого эха горной местности. Главенствовал в салоне рояль. Рядом с ним вдруг возник человек среднего роста в темном свитере тонкой вязки. Он внимательно смотрел на гостей, даже, пожалуй, рассматривал одного за другим, и дружелюбно, а те, застигнутые врасплох, не знали, как себя повести.

— Простите мне эту неожиданность, — сказал Меклер. — Я услышал ваш приход и воспользовался секретным коридором...

Позади него в стене виднелась маленькая дверь.

— Лео, вы о ней не знали?

Клауса поразила живость глаз дирижера, быстрота движений крепких коротковатых рук. Устремленный с горбинкою нос вытягивал лицо вперед, придавая ему выражение птичье. Поспешно вошла фрау Штольц и не без досады произнесла:

— А! Вы уже здесь!

— Да, Элиза, — сказал Меклер с насмешкой, словно ему удалось ее обхитрить, и примиряюще добавил: — Здесь все свои... И своих мы умеем угостить, не так ли, *гнедиге фрау*?

Через минуту гувернантка вкатила длинный двухэтажный столик с бутылками, графинами и закусками. Возведя глаза к потолку, она проговорила вслух молитву, как еще водится в почтенных фермерских семьях, и сказала торжественно: — Просим не церемониться!

Лео налил себе виски, Клаус читал этикетки на бутылках, Грегор изучал надписи на подарке Штеттера. Дамы начали с соков.

— Спасибо вам за эту встречу, дорогой Клаус, — сказал дирижер потеплевшим голосом. — Вы знаете, я вижу людей много и часто, слышу их голоса — но они лишь приветствуют мое умение... Любой другой режиссер услышит те же аплодисменты. Мои личные *рандеву* тоже часть моей профессии... Ах, как приятны бескорыстные, теплые человеческие встречи.

Фрау Штольц отозвалась на это заявление шумным вздохом и звоном тарелок, довольно мелодичным. Меклер остановился и прислушался, и поморщился:

— Элиза, вы сыграли Дебюсси, но не самым успешным образом!

Гувернантка всхлипнула, прижала салфетку к глазам и вышла. Доротей и Нора переглянулись.

— У вас в доме говорят на языке посвященных, — сказала Доротей. Холодным тоном она как бы брала под защиту обиженную хозяйку дома, и к Клаусу обращалась, усиливая атаку.

— В самом деле, это почти эсперанто, — поддержал Штеттер, оглянувшись одобрительно и перемещаясь в ее сторону со стаканом в руке.

— Наше *эсперанто*, — подчеркнул Меклер, — уже ни на что не *надеющихся*. — Вы знаете, мне вспоминаются в вашем присутствии давно забытые вещи... Древние — и настолько, что я с удивлением спрашиваю, какое имею к ним отношение... Имею ли?

Он явно обращался к Доротее, хотя сестра ее стояла рядом, глядя на музыканта широко раскрытыми глазами, и это было бы неприлично, будь его известность поменьше. Клаус сидел на подоконнике с бокалом вина, с любопытством следя за развитием разговора, однако и оглядываясь на пейзаж, на синюю даль озера, чувствуя приятное томление в сердце: их всех посетило одно настроение дружественности, свободы и той мудрости возраста, которая не стремится схватить и приобрести навсегда, — будь то внимание другого человека или любовь.

Красотой облака можно насладиться, его розовым и золотым ободком (за ним спряталось солнце), но нельзя его остановить, приковать. Впрочем, можно сфотографировать... Клаусу не хотелось и этого, он просто смотрел и любил: седого музыканта, вальжного винодела и потомка солдата, спортивную зеленоглазую Нору и, конечно, мечтательницу Доротеею. И гувернантке, высунувшейся из кухни и прислушивавшейся к разговору, доставалась толика симпатии. Самого себя он видел объединяющей точкой, через которую прошел пучок лучей чужих жизней. Они этого не знали.

Штеттер прогуливался с тарелкой в руках и ел с видом завсегдатая. Он был привычен к приемам и фуршетам, и даже предпочитал их непринужденность чопорности званого обеда: — Госпожа, передайте, пожалуйста, соль... Господин министр, позвольте вам заметить, что число *койконочей* (*nuitées...*) в этом году несколько сократилось...

Меклер рассказывал о гастролях в Китае. Там в первом ряду сидели начальники во френчах, а во втором их секретари с бумагами в руках. Наклоняясь к уху руководителей, они что-то говорили, и те начинали хлопать размеренно и неторопливо, и простые слушатели вторили им. Шум аплодисментов напоминал работу мельничного колеса.

— Китаю далеко до демократии, — вздохнула Нора.
— Увидите, они еще вставят свои палочки в наши колеса.

— Колесики наших часиков, — поправила Доротея.

— Зачем им демократия, когда у них есть Конфуций,
— буркнул дирижер. Его что-то отталкивало от Норы, ему хотелось ей возражать во всем, но никак он не мог найти точек противостояния и борьбы. Доротею же он заведомо принимал во всех проявлениях.

Клаус рассматривал альбом «Барокко и его братья». Переворачивая страницы, он не заметил, как выскользнула из книги открытка и спланировала к ногам Доротеи. Она подняла ее и заговорила почти возмущенно, — все обернулись к ней и посмотрели.

— Ах, опять эта глупая скульптура!

На открытке изображен был *Моисей* Микеланджело. Нужно ли напоминать, что великан Ренессанса награ-

дил рогами вождя исхода из египетского плена? Как ни странно, никто из ученых ими не заинтересовался.

— *Лучи* подлинника превратить в *рога* перевода! — взволнованно говорила Доротея. — И этот вздор пережил века.

Клауса удивила и тронула горячность Доротеи, так противоречащая равнодушию современного человека к великим событиям и даже идеям.

— Что за дело тебе до рогов, — усмехнулась Нора. — Ты ведь тут не при чем?

— Понимаю Доротею! — воскликнул Меклер, приближаясь к ней и осторожно касаясь ее руки. — Абсолютно согласен! То, что сделал великий скульптор, ужасно. Вообразите: великий композитор написал партию виолончели... а дирижер вычеркнул и указал: *партия по барабану*.

— Виолончель не лучи, а рога не барабан! — веселился Лео, обрадовавшись нечаянному фарсу.

— Вы, Нора, неправы, — добавил Меклер, не довольствуясь похвалой по адресу ее сестры. — Искусство лишь то великое, которое бледнеет перед истиной.

— Бледное искусство? Как же так, мэтр?

— Да! Возьмите себе общепринятый смысл! А я имел в виду... смятение перед открывшимся... пиком!

Меклер прибегнул к запрещенному оружию пафоса, сверкая глазами, и Клаусу был симпатичен. Фрау Штольц поняла, что настало время ее гастрономической миссии и примирения сторон. Она вплыла со стопкой тарелок, а потом появилась и кастрюлька-долгожительница, распространившая аппетитный запах — несомненно, тушеного петуха-шаперона.

— Ваша судьба читает мою справа налево, — сказал Грегор Норе, стоя совсем близко к Доротее. Сестры посмотрели друг на друга, и Нора слегка пожалала плечами. — Доротее... Дело в том... Ваше возмущение рогатым Моисеем мне пришлось по душе... дело в том, что среди моих имен есть и *Нора*... но прочтенное справа налево!

Все немедленно это проделали, и Доротее улыбнулась. Сестра же нахмурилась. Клаусу было интересно.

— Вот почему вы так взволнованы, — мягко сказал он. — Тот далекий, чье имя вы носите, видел сияние лица боговидца.

Излишне уточнять, что Клаус имел в виду Моисея.

Пришла пора заняться едой, ибо разговор достиг почти молитвенной высоты, где людям уже скучно разговаривать, и нужно молчать.

13

Отдохнув от еды на веранде за чашечкой кофе, гости и Меклер отправились вниз по тропинке через лесной участок. Там и тут виднелись домики для птиц, устроенные мэрией, а также кормушки для пчел и полезных жуков.

Грегор пригласил всех на репетицию концерта. Лео взялся всех отвезти в город на своем швертботе. Они спускались к озеру по узкой тропинке гуськом. Клаусу выпало идти последним. Перед ним шла Нора, ступая ловко и упруго, несколько по-кошачьи. Движение воздуха прижимало платье к ногам, очерчивалась линия бедер и ягодиц, и Клаусу делалось не по себе от

их близости. К счастью, они вышли к лужайке с овцами, к фонтану с купальщицей и малолетними фавнами, застывшими в вечной шалости, к дому.

Лео шагнул на палубу первым и вытолкнул на паркет трап. Доротей приняла помощь руки капитана, а Нора прыгнула прямо на палубу. Клаус и Грегор, не имея привычки к мореходству, взошли на судно с осторожностью. Лео сел на корме. Он ловко поймал парусом ветер, и снасть наполнилась, упруго вспучилась, люди почувствовали толчок силы воздуха. «Лермонтофф» рванулся и повез их в голубую даль.

За отплытием следила фрау Штольц с веранды дирижерского дома, приложив ладонь козырьком ко лбу. Когда-то и она была музыкантом, флейтисткой, она еще помнила волнение, охватывавшее ее перед выходом, и страх — словно перед змеей, которую предстояло околдовать и обезвредить звуками. И однажды судьба ее вознаградила: в глазах первой скрипки, злючей и острой на язык, Штольц увидела слезы любви и печали... что же она тогда играла... ах да, Телеманна, его трио... Заметил ее и Грегор, и с тех пор все пошло кувырком. Дирижер, впрочем, тогда совсем молодой, любил кувыркаться утром в постели. Потом он сидел в позе лотоса, пил кофе и уходил в кабинет. Уезжал на репетицию. И так постепенно она отошла в нишу жизни, благоустроенную, сонную. Однажды она спохватилась, что время проходит, что она сделалась слушательницей, и только. Но не могла оторваться, расцепиться. Дети почему-то не родились.

Вкусив мужественности положения — они плыли, несомые стихией ветра, — им захотелось бури и драмы.

«Вот что уничтожает всякую лень, — сказал себе Клаус.
— Вот почему Штеттер такой энергичный и ловкий!»

— А он, мятежный, ищет бууури, как будто в буре...
— запел Клаус, но не успел.

— До, до, до! — закричал Меклер, не понимая слов, но догадываясь о мелодии. — Вы фальшивите, дорогой друг! Э, да у вас нет слуха!

И он напел мелодию звонко и ясно. Пораженный Клаус воскликнул:

— Вы знаете этот романс?

— Нет! Но я знаю логику музыки! И ваше удивление говорит, что я угадал, не так ли?

Меклер был доволен, словно после особенного успеха, — ибо Доротея не сводила с него глаз. Кораблик скользил, напряженный, поскрипывая снастями. Со свистом взрезая воздух, их обогнал, тяжело махая крыльями, лебедь. В воздух взметнулось продолговатое серебристое тело и шлепнулось к ногам Клауса. То была огромная форель, испугавшаяся чего-нибудь — тени ли судна, или птицы. Мгновение она оставалась неподвижной, оглушенная ударом о палубу, и Клаус схватил ее поперек туловища двумя руками и держал, не зная, что делать дальше.

— Кладите в ведро! — закричал капитан.

Раньше, чем ведро подоспело — его уже подставлял дирижер, как форель пришла в себя и неистово извивалась, выскальзывая из рук пассажира, и тот не мог ее удержать. Освободившись, рыба ударила хвостом, подпрыгнула и свалилась за борт. Ошеломленный Клаус стоял с протянутыми руками, выпучив глаза, покрасневший от неудачи. Нора

захохотала, мужчина взглянул на нее с мольбою, и она показала ему язык. Доротей отнеслась к происшествию со вниманием, а уж язык Норы показался ей совсем красноречивым: не обозначал ли он нечто такое, о чем она не извещена?

Отвлек ее хохот Меклера: мэтр задыхался, не мог вымолвить слова, он только пересчитывал пальцы, показывая на присутствующих, и показал всем: пять! Тень тревоги легла на лицо Штеттера: он никогда не видел таким своего дальнего родственника.

— Квин... тет! — наконец, выговорил музыкант. Прыснули и другие, поняв ребус положения: их пятеро, то есть квинтет, и вдобавок форель: *Форельный квинтет* Шуберта сыграла с ними судьба, и для них.

— Квинтет, впрочем, обходится без дирижера, — забавлялся игрою смыслами Лео, — а тут вы налицо.

Такое развитие темы Меклеру не понравилось вовсе, он перестал смеяться. Да и ветер стих, парус обвисал, изредка пытаясь надуться. Мелкие волны ударялись о борт, гора Риги удалялась, и все явственнее выступали из голубой дымки очертания церкви, остатков средневековой стены, крыш. Музыкант забеспокоился, не опоздают ли они при таком ветре на репетицию, Лео с видимым сожалением оставил место рулевого и перешел в рубку. Заработал мотор. Приподняв нос над водой, окруженный воротничком белой пены, корабль быстро поплыл вдоль парка, уставленного скульптурами, — министры сочли их для площадей города неприличными. Вскоре Штеттер причалил к пристани, над которой возвышался другой корабль, и огромный, — вытянутое эллипсом здание концертного зала.

Они вошли вместе, а потом Меклер отдалился, похолодел и откланялся, сказав, что сегодня они уже не увидятся. Собственно, репетиции заканчивались, и сегодняшняя — почти генеральная. Остались кое-какие пустячки, они могут послушать, пока не надоест, хотя остановки и замечания тоже интересны, если знать произведение и иметь — Меклер взглянул на Клауса — слух. Штеттер сказал, что отвезет маэстро домой на своем огромном черном джипе. Клаус и сестры хранили верность автобусу.

Меклер дирижировал Малера. Странен был вид огромного пустого зала, утонувшего в темноте, где их никто не мог видеть. Угадывалось, однако, что потолок очень высок, если вообще есть. Несколько темных силуэтов они увидели, но лиц разглядеть не могли. Музыканты быстро выходили на сцену, одетые в штатское платье, и многие в джинсах, и певица была в тишортке... Такова будет и музыка, сказал себе Клаус, однако быстро вошедший — почти вбежавший — Меклер произвел невидимый электрический разряд, нити протянулись от него к музыкантам, они делались все крепче. Оркестр как бы поднялся в воздух и повис организованным отрядом марионеток. Лишь певица поднялась и ушла, — ей предстояло вступить много позднее, но на последних репетициях Меклер требовал присутствия всех — ради единства замысла композитора: партия голоса, видите ли, была в голове и сердце Малера с самого начала, а потому и на сцене ей полагалось материализоваться с первых же тактов. Она и попробовала возразить, но Меклер пресек попытку

оппортунизма, сказав: «Мадам, философствовать буду я». Она фыркнула и покорилаь.

Гости слушали внимательно, сидя в темноте, прикованные к ярко освещенной сцене, пока не начались остановки и замечания.

— У меня заболела голова, — сказала Доротея, потирая виски. Утомленной выглядела и Нора. Они выбрались в слабо освещенный коридор, где прогуливался сквознячок. Клаус увлек сестер на верхний этаж, на смотровую платформу, откуда открывался вид на залив и город. Мерцали огни, поблескивала вода. Стены крепости были освещены, и высоко возносил свой пик купол страхового общества, самого старого в стране.

— Уютный город, — сказала задумчиво Нора. — Город — дом.

— Вот точное слово, — согласился Клаус. — Нам тут хорошо, потому что мы живем в других городах. Интересно, что сказали бы жители, которые не могут уехать отсюда.

И автобус показался им милым, и шофер в пестрой рубашке был по душе. Он ехал почти не останавливаясь, поскольку пассажиров в столь поздний час не нашлось. Они сошли в тишину и темноту, их недолго провожал своим светом фонарь, висевший над остановкой, но вскоре его луч обессилел.

Серый гравий дорожки едва был виден, он помогал им не сбиться, хрустя под ногами. Когда же они вступили на лесной участок, на мягкую тропинку из хвои, их спуск крайне замедлился. Нора догадалась светить своим телефоном. Она шла впереди, держа

Клауса за руку, а он держал за руку Доротею. Та вскрикнула: ветвь ели погладила ее по лицу. Они вышли на лужайку и могли видеть белесые очертания дома, журчание фонтана до них донеслось. Гора Гёте вырезывалась черным треугольником на фоне звездного неба, у подножья ее светились огоньки деревушки.

Они не отнимали еще рук, и Клаус почувствовал, что Нора пожалала его пальцы, он не ответил и пожал руку Доротеи. Она не ответила.

В кухне они пили липовый с мятой чай для крепкого сна, не разговаривая, довольствуясь теплом присутствия друг друга. Нора ушла первая в свою багажную комнату, и оттуда уже донеслось пожелание:

— Schlaf Ihr gut.

— Спокойной ночи, — равнодушно отозвалась Доротея.

Клаус один сидел за столом, над которым низко висел стеклянный абажур, бросавший на него светлый круг. Сверху над темным диском выступало изумрудное полушарие. Зеленый свет связал его с юностью, с длинным полутемным залом университетской библиотеки, где он провел столько счастливых часов.

Зеленая лампа была у него и дома, пока однажды в дверь не позвонили. Открыли соседи, и через мгновение комната наполнилась людьми, пахнувшими сапожной ваксой. Один из них зацепил нечаянно шнур, потащил. Стеклянный абажур разбился на мелкие кусочки, уцелевшая оголенная лампочка их освещала скучным канцелярским светом.

Мама всплеснула руками, бросилась собирать осколки совочком и щеткой, а пришельцы с планеты

тюрьма рылись в столе, в книгах, в белье, не обращая внимания. Как далеко ушло это время, подумал Клаус. Провидение и судьба были к нему, баловню, пожалуй, милостивы. «Тебе наградою будет твоя жизнь», — вспомнил он библейское, и зябко повел плечами.

В дверях стояла Доротея в короткой ночной рубашке с синей строчкой по краю. Свет от лампы падал так, что под тканью виден был темный треугольник.

— Я проснулась, — сказала Доротея удивленно. — Ты еще не собираешься спать?

15

Лео Рихардович Штеттер проснулся в своей кровати под балдахинном, когда кафедральные часы начали бить семь часов. По привычке, унаследованной от великого прапра...деда, сражавшегося в далеком Париже за власть — как потом оказалось, и за жизнь — французского короля, он считал удары. Семь — и сегодня, как вчера и завтра. «Если Богу угодно», — добавил он тоже по привычке, воспитанной в нем гувернером, протестантом.

Дверь медленно приоткрылась, и в спальню вошел персидский кот Базиль. Он уселся посередине и посмотрел на Лео, словно хотел удостовериться в добром расположении духа хозяина, однако и несколько надменно, как свойственно котам этой придворной породы.

— Грюци, — сказал Лео.

— Мяу, — отозвался Базиль.

Они вместе подошли к двери балкона и вышли. Этажом ниже располагалась балюстрада, отделявшая

каменный перрон от газона, здесь начинавшегося и уходившего к горизонту, обрамленного по бокам липовыми аллеями. На газоне сидел любимый пойнтер Штеттера. При виде хозяина он вскочил и начал, повизгивая, размахивать хвостом, готовый услужить. Презрительно фыркнув, Базиль смотрел свысока на собаку.

— Грюци, — сказал Лео. Он надавил на какую-то кнопку, и в ответ коротко звякнул звонок: гувернант отвечал, что завтрак будет приготовлен в столовой в семь с четвертью, как и полагается в хороших домах, где хозяева не позволяют долго спать ни себе, ни в особенности своим сбережениям. Знаменитый талант притчи с утра отправляется в путь и вечером приводит с собой целую кучу детей. Кальвин — патрон части предков Лео — был бы доволен; католические же, поначалу нахмурившись, помня о власти мамоны, потом улыбнулись бы тоже, убедившись, что все новые приобретения безупречны, честны и отмыты до блеска.

За утренним кофе Лео просматривал самую лучшую — если б возник и такой странный конкурс в наш век неустанных соревнований — газету мира, фамильярно прозванную *Энцеце*, по трем заглавным буквам (не путать с ужасной мухой, распространительницей сонной болезни). Новости культуры питали его воображение и мысль, пока молекулы, привезенные в зернах из далекой Бразилии, расшевеливали его кровь, заставляя ее быстрее орошать нужные участки мозга.

Несомненным знатоком тут был профессор Ингольд, его заметки о русской литературе Штеттер ценил и любил, хотя и склонен был не соглашаться с

чрезмерным пессимизмом ученого. Тот писал о при-
верженности русских к крепкой власти, переходящей, в
конце концов, в диктатуру. Вот и сегодня критик
тревожился о нашествии в их стране новопоставленных
памятников Сталину, создателю *гулага*.

Что ж, русских можно понять: их боялся весь мир, а
теперь все их ракеты кончились пшиком. Им осталось
оглядываться на прошлое, признаться в любви к
тирану и поднять его на щит, и тем самым подняться в
собственных глазах, хотя бы и стоя на коленях, но зато
над всем миром.

Лео быстро знакомился с состоянием вселенной,
почесывая за ухом Базиля, презрительно фыркавшего,
но принимавшего ласку. Персидские коты лучше
других пород соблюдают субординацию; они обычно и
евнухи.

Экономические страницы Лео пропускал: в конторе
по управлению его состоянием работали специальные
служащие. Сегодня должен был появиться один из них,
и главный: Лео пришла недавно мысль учредить
какую-нибудь премию; он еще не знал, для какого рода
искусств. Если для живописцев, то это удобно для
вкладчиков его банков: они могут вкладывать сбере-
жения в картины, а картины отдавать на хранение в
банк. Скульптуры бывают громоздки, это лишние
хлопоты, а вот плоские высокого качества картины
очень удобны, экономичны. Сущие шедевры! Приз за
лучший роман или книгу влечет увеличение веса в
политике, он будет стрелочник важный, — пустит ли
он бронепоезд сатиры или цистерну с пьяной
эротикой, отряд кальвинизма или призыв к спокойной

потребительской жизни, — все зависит от настроения его, Штеттера Лео. И уж постараются ему не портить его, его настроения.

Самое же непосредственное удовольствие — премия музыкальная. Юные, прекрасные, взволнованные претендентки трепещут, краснеют, бледнеют и ждут гласа судьбы. А ведь он, Штеттер, и не будет ничего говорить своим голосом, он голосом председателя жюри — спокойным, звучным, приятным, такой у Физельна регента, его и позвать в председатели, — объявляет: третье место такому-то, второе еще одному, первое такой-то...

Действительно, не пора ли подумать о наследнике Штеттер *Estate*... Подобрать ему достойную мать. Вот эта симпатичная русская пианистка... глаза голубые, влажные... рот пунцовый... нос скорее средиземноморский, притуплен конец. Подбородок умеренный: нет в нем тяжелой немецкой воли (и представления), но нет и безволия Евы, обильной, доверчивой к страсти, бывает, и ненасытной. Она играет отлично и уже была лауреатка, и всегда под рукой: пианистка городского оркестра. «Премия Лео»! По-моему, хорошо прозвучит.

Он подумал о Клаусе и его гостях с удовольствием. С нежностью даже: это артист, хотя и писатель. Мечтатель. Есть шанс, что после смерти его найдут толстую пачку исписанных мелко листов. Неразборчивым, разумеется, почерком, они пишут всегда для себя, в мыслях нет, что другим разбирать их морока.

И прекрасные сестры. Нора ближе ему своей предприимчивостью. Проект в Бразилии, правда,

странный, филантропией отдает, но почему бы и нет, среди филантропов всегда найдет кучер их колымаги, который сошьет себе кафтан из их экономий. Доротея ему интересна своей непонятностью... неподвижностью... приверженностью Клаусу. Зачем он ей? Упал, как спелое (перезревшее?) яблоко в подол? Штеттеру были приятны мысли о них — весьма непохожих на круг его родственников, на сотрудников управителей, рассудительных, загибающих пальцы при подсчете выгод от строительства новой гостиницы.

Почтительно звякнул звонок: с докладом Бауэр, секретарь. Он и входил уже с папкой под мышкой, приветливо глядя издалека в глаза Штеттеру, приближался, не отрывая взгляда, приготовив руку для братского демократического пожатия. Лео вдруг вспомнил совет не смотреть собакам в глаза, это их пугает, они могут взбеситься. Глядя в сторону, он огорошил Бауэра вопросом:

— Вы музыку любите?

— Видите ли, господин Штеттер... люблю ли я музыку? — повторил он, усваивая вопрос, приближая его к себе, снижая остроту, приручая его неожиданность.

— Хочу учредить конкурс пианисток, — сказал Лео.

— Ну что ж... надо что-нибудь сделать для феминисток, — нагнул Бауэр голову в знак согласия. — Есть и такой проект: вчера мы устроили *брейн штурм* («унд дранг», — добавил он тихо). — Весьма перспективно арендовать полосу в Северном море и поставить две тысячи ветряков... потом довести до десяти тысяч. Ввиду отказа Германии от атомных станций...

И замолчал, оставив место для замечания патрона.

Штеттер поморщился. Он представил себе побережье, синее море, своего *Лермонтоффа*, тысячу ветряков — и то уже много, а тут десять... Некрасиво. Зато безопасно. Атомную станцию легче замаскировать, но если вдруг... будущий ужас. Ужас будущего. Такое приснится — будешь не спать. Такое случится — спать будет некому.

— Ну что ж, ветра на всех хватит, — сказал Штеттер.
— А премия на многих одна. Пусть достанется лучшей.
Бауэр почтительно наклонил голову.

16

Автомобиль для дальних поездок в ближние виноградники — тяжелый черный джип — плыл через зеленое с васильковым оттенком поле люцерны. Пятеро спутников его поместились, и еще было место, если б нашлись пассажиры. Фрау Штольц поехала с ними, чтобы «пополнить наш маленький погребок», как она выразилась. Меклер взглянул хмуро, но ничего не сказал; он переживал и пережевывал перипетии репетиции, предпоследней. Еще одна в пятницу, в субботу генеральное исполнение, в воскресенье концерт. Сегодня и на другой день он отдыхал, доволен был, что поездка его развлечет, возвращался в мыслях к ударникам, — их занято в концерте четверо. Ничего не поделаешь, таков композитор. Меклер, впрочем, сам любил громкие звуки начинающейся войны, он кричал иногда, забывшись в экстазе: «Так их! Бей их!» Барабаны отзывались все громче и страшнее. И если б не бархатный голос валторны, утробный и влажный...

Шлиссенберг перешел к Штеттерам за недоимки Клартенс-Ваксеров еще в восемнадцатом веке, до наполеоновского рейда в Гельвецию, рассказывал Лео. Последний их представитель, Гуго фон Клартенс, упал в складку ледника, не оставив наследника.

— Как непредусмотрительно отпраляться в горы в таком случае, — заметил Меклер. — Да и вы что-то медлите, Лео.

— Анданте, маэстро, — засмеялся винодел.

Вместо ожидаемого замка сестры увидели большой загородный дом, окруженный фруктовым садом, за которым во все стороны, насколько хватало глаз, простирались виноградные поля. От озера уцелела в пейзаже узкая синяя полоска, зато горы громоздились величаво, и за ними виднелись вершины, покрытые снегом.

Винный погреб удивил их бочками — крутобокими, молодцеватыми, мерцавшими матово. Вино выдерживалось сначала в дубе, и если оно выдерживало такое обращение — бывало, что нет — то переливаемо бывало в бутылки с простенькими этикетками места и года. Лео рассказывал истории вин. Оставалось еще несколько знаменитостей.

— Вот этим я вас угощу, милостивые государыни и государи, и не постыжусь. Его поставлял мой предок знаменитому меломану Баварскому королю. К вину, говорят, он был равнодушен, но погреб его величеству полагался по протоколу.

Бутылки покоились в наклонном положении, и одну из них Лео взял осторожно, словно военную мину, и уложил в такой же ящичек с удобной ручкой, не

изменяя угла наклона. Сооружение поставлено было на отдельный столик.

— Успокоим наши души бокалом вкусного *пино*, он очень удачный... А затем подбодрим сердце и кровь рюмкой солидного ликера...

Тяжелые запахи довели в переулках между бочками, под темными низкими сводами. Доротея терла себе виски, заранее опасаясь головной боли после дегустации. Нора оглядывала восхищенно эти богатые запасы питья, прикидывая, сколько это могло бы стоить.

— И не старайтесь, Нора, сосчитать, — усмехнулся Лео. — Никто этого давно уже не может.

Показ закончился, наконец. Они вышли на солнечный свет, жмурясь и хмурясь, прикрывая глаза козырьком ладони, защищая их от вида синего неба и от яркой прозрачной зелени листьев. Фрау Штольц показала из двери с надписью *прием посетителей*, держа удобный деревянный ящик с ручкою, в гнездах которого лежали бутылки.

— Ах, мадам, вы, я смотрю, нагрузились? — скаламбурил Меклер и получил в ответ молнию взгляда. — Извините, это вышло случайно: у меня типун на языке.

Пробовать знаменитые напитки собрались на террасе, соединявшейся с залом особою дверью, раздвигавшейся и складывавшейся, так, что оба пространства соединились в одно.

— А это, маэстро, — если захотите попробовать тоже — для вас, — сказал Лео, указывая на рояль, придвинутый к стене. Вблизи помещались застек-

ленные полки книг, частично настоящими, а частично бутафорскими, с нарисованными корешками, доставшимися от времен уважения к знаниям. Старинный глобус украшал помещение, несколько карт тоже не новых, небольшой телескоп и даже смешная потешная мортира. Подле нее стоял манекен гренадера наполеоновской армии.

Вино для баварского короля-меломана понравилось Клаусу. Нора, пробуя, окунула язык в бокал. Доротея храбро отпила глоток.

— Немногие бутылки доживают до такого возраста, — заметил Лео. — Перевозить их нельзя. Знатоки и любители приезжают сюда в первый уик-энд месяца.

— Как на концерт, — пошутил Клаус.

— Именно! Чтобы насладиться симфонией... вкуса! Простите, маэстро, это сравнение гурманам.

— Гурманы и меломаны... — что ж, это обычно. Они часто еще финансисты, люди счета, подсчета.

Клаус уже заносил разговор знатоков в новенькую записную книжечку черного цвета.

— Рисуете с натуры, — усмехнулся дирижер.

— Вы схватываете значение любого жеста, — заметила Доротея.

— Профессиональное, — сказал Грегор. — Я привык следить за исполнителями. Иначе они такого натворят!

— Чихнет кто-нибудь, — сморозил Штеттер.

Мэтр строго взглянул на него:

— Это крайняя редкость. За всю мою практику лишь однажды в Америке пианист, игравший Рахманинова и имевший к нему тайную аллергию, — вдруг стал краснеть и надуваться...

— Но вы справились? — встревожилась Нора.

— Я погрозил ему Пальцем, и это прошло.

Все помолчали, переживая ужас от едва не наступившей тогда катастрофы.

— Как вы думаете, Грегор, не пора ли учредить новую премию пианистам? Точнее, пианисткам?

Тот не ответил. Штеттер кивнул заглянувшему в салон служителю. Внутри дома загудели моторы, всё задрожало, позвякивало стекло. Участок паркета зашевелился и стал приподыматься. В полу открылись створки, о которых никто не подозревал. Из подполья поднялся двухэтажный стол с расставленными кувертами и бутылками, с блюдами снеди посередине. Невидимый набор колокольчиков играл мелодию из «Фальстафа». Штеттер стоял, скрестив руки на груди, напоминая адмирала, любующегося полем — простите, морским заливом — предстоящего сражения.

— Это изобретение привезено другим моим предком из Ватикана, — объяснял он, довольный успехом у дам. Меклер остался равнодушен, он знал.

Доставленная таким способом пресноводная рыба обещала особенный вкус. Главное место занимала гигантская фаршированная щука с разинутой хищной пастью, уже не в состоянии кого-либо проглотить, наоборот, ей предстояло быть проглоченной собравшимися едоками. Ее окружали замаскированные зеленью кусочки маринованного тунца. Великолепие картины еды вызвало минутную нерешительность ножей и вилок. Вошедший служитель помог разрушить наваждение эфемерного искусства, вонзив остро заточенную лопаточку в щуку. На флажке, воткнутом в

хвост, значились дата и место отлова. Рыба оказалась отечественной.

— На всякого хищника есть еще более хищный, — заметил Лео, довольный произведением искусных поваров. — Доротей, позвольте мастеру своего дела вам услужить? И вам, Нора?

Они не сопротивлялись, да и мужчины молча смотрели. Белое вино также созрело в местности сей, на бутылках были наклеены простенькие этикетки с вензелем **IS**. Хозяин сказал, что производится его очень мало, лишь для нужд собственного стола. Клаус отпил рассеянно глоток и сообразил, что никогда прежде не пробовал столь вкусного вина, да и в будущем, вероятно, уже не придется. Дамы и Клаус сидели по одну сторону стола спиной к роялю и глобусу, хозяин и Меклер с торцов его, и все могли взглядывать на величественный пейзаж, расстилавшийся перед ними. Глоток вина, вкусный кусочек, взгляд на вид живописный, остроумное слово, — так чередовали они пищу для нёба, зрения и разума.

— Нам повезло с погодой, — сказал зачем-то Штеттер.

Весна стояла удивительно ровная солнечная. Не верилось, что где-нибудь люди сейчас стонут от ужаса и подбирают костлявыми руками крошки с земли. Без телевизора и газет об этом никто бы и не узнал.

Клауса опять поразила неравномерность ткани мира. В каких-нибудь десяти километрах над их головами не хватало для дыхания и обыкновенного воздуха. Ему сделалось тесновато в этой клетке условий

существования, он хотел расстегнуть ворот рубашки, но тот и так не был застегнут.

— Вас что-то смущает, — сказал Лео, улыбаясь.

— Ты чем-то встревожен, — добавила Доротея, сидевшая справа от Клауса.

— Воздух чистейший, он пьянит сильнее вина, — заметила Нора, раскрасневшаяся, помещенная хозяином между Клаусом и Меклером.

Ждали высказывания маэстро, но он промолчал. Он смотрел внимательно на всех, вежливо улыбался, кивал в ответ на вопросы и фразы, но сам слышал другое.

Ликеры, ром, кофе и чай всех оттенков им приготовили в образовательном уголке салона, возле карт (географических) и книг, к роялю поближе. Заговорили о потеплении планеты, а Штеттер даже игриво ввернул словечко о последнем сексуальном скандале евроминистра.

— Правда ли, что в номере была камера? Вот в чем номер! А потом его в камеру.

— Ах, Лео, — разочарованно произнесла Доротея, и тот перевел разговор. Клаус посетовал на чрезмерность литературной продукции.

— История разберется, — усмехнулся Лео, — если у нее будет время. Впрочем, позвольте сравнить: так и добротному скромному напитку невозможно появиться на рынке среди масс бутылок. Интересно, однако, что применительно к винам помогают уловки дороговизны: хорошее вино обычно высоко и в цене, не правда ли? Так вот, теперь новая тактика: выпускается оригинальное название, оно дорого стоит, и вся партия продается. Затем новая серия — и так далее, далее...

фактор дегустации, манипуляция любопытством! Не устаю удивляться простоте управления.

Клаус подыскивал мысленно примеры подобного в искусствах. Меклер, оставив кожаный диванчик, пошел к роялю, попробовал ноту, взял аккорд.

— Любезные дамы, нельзя ли предложить вашему вниманию одну вещицу? — сказал он. — И вам, господа, — спохватился.

Да и «дамы» были уловкой, — он обращался к одной Доротее, и та смутилась бы от подобной выделенности и бестактности маэстро, но успокоилась, заметив за шторой двери профиль верной Штольц. С такой охраной бояться нечего.

— Вещица называется «Без названия»... крайне редкое, уникальное, — сказал Меклер и сразу начал играть.

Произведение странное, всех захватившее с первых же нот. Мгновенно оно показалось близким, очень знакомым, родным, хотя никто не мог вспомнить названия. Слышалась меланхолия придворной флейты и грусть клавесина, и блеск моцартовского полета, и темные удары грозы, и гладь, и тишь, снова вздымались волны новой жизни, обрушивались в катаклизмах, и опять успокаивался вечер, мирно паслись стада и народы, и тихая радость касалась сердец.

Словно они парили над озвученным пейзажем, над изображением жизни столетий, где и им нашлось место. Мир стал домом, когда Меклер остановился и сидел не отрывая рук от клавиатуры, и уже растаял последний звук.

Он был мастером завершающей паузы.

— Маэстро, bravo! — Не выдержал Штеттер. — Не могу догадаться! Это ваше? Но что, почему?

И силялся вспомнить.

— Да, раньше вы слышали хоть однажды *всё это*, — с холодной усмешкой сказал музыкант. — Доротея, вы позволите посвятить вам сегодняшнее исполнение?

— Ах, конечно... но так неожиданно... я смущена... польщена... — говорила женщина, оглядываясь за помощью на Клауса. Поддержка пришла с другой стороны: в двери показалась Элиза Штольц и спросила, не нужно ли подать маэстро плед в виду наступления вечера. Все вздохнули с облегчением, а Меклер досадливо отказался.

— Так и быть, скажу. Я вам сыграл, Доротея... Друзья мои, я вам сыграл попури из 99 кусочков — иногда длительностью в секунды — из 99 произведений, которыми я дирижировал когда-либо, из самых любимых, удачных, успешных...

Лео застонал, словно от зубной боли, и все к нему повернулись.

— Ах, зачем вы открыли секрет производства, маэстро! Всё вдруг рассыпалось, чудесная мозаика упала на землю!

— Разорвал одеяло Майи, — весело засмеялся дирижер. — Так или иначе, это работа отнюдь не новичка, у меня ушло два года, чтобы соединить тютелька в тютельку.

— Гениально! — крикнула Нора, а Доротея, взволнованная открытым посягательством Меклера на ее независимость, промолчала. Они все начинают с приношений и посвящений, а потом их ждет судьба

фрау Штольц. От Клауса шли флюиды покровительства — но отнюдь не владения, и это ей нравилось: помощь друга, не более, — впрочем, друга, не желающего себя обременять обязательствами. Надувшийся важностью Меклер не замечал. Он даже захотел почувствовать себя щедрым.

— Но довольно звуков, — сказал он. — Клаус, верните нас к значению слов... Прочтите... *что-нибудь*.

Такой поворот обескуражил литератора, правда, не окончательно. Он вспомнил поэму *Прощание любви*, сочиненную в молодости. Ее он читал в подобных ситуациях, тем более, что только ее он и знал наизусть по-немецки. Да и пейзаж был ему в помощь — пойти за ним вдаль, к горизонту.

Dort, wo Mosel und Rhein
Zu einem Strom zusammen fließen,
Wo die schwarzen Schleppkähne
Mehr und mehr werdend
In einer Karawane nach Westen...*

Его слушали. И Меклер менялся в лице, становился задумчивым, и Доротея обретала привычную невозмутимость, и даже Нора, немецкий язык не любившая, кивала головой в нужных местах.

— Bravo, — сказал, наконец, Лео. — Как так случилось, что я прежде вас не читал?

* Там, где Мозель и Рейн
Соединяются в единый поток,
Где черные баржи, увеличиваясь в числе,
Идут караваном на Запад...(*нем.*)

— И даже не знали о моем существовании, — засмеялся Клаус, довольный. Успех его молодил.

Вечер спустился на местность. Лишь фиолетовые силуэты горы вырезывались на фоне светлого неба, солнце за нее давно опустилось, и тишина становилась всё слаще. Встреча их исчерпалась, они не торопились, однако, протягивая лучи дружелюбия в ночь. Не стовариваясь, гости собрались уходить, и Лео их провожал до машины.

— Простите мне эту вольность, я должен остаться... Вас отвезет мой шофер Самсон, — сказал хозяин. За рулем чудовищного джипа сидел маленький худой паренек, и Клаус засомневался, справится ли он с четырехосным колоссом. Самсон повел вездеход с ловкостью и уверенностью в себе чрезвычайной.

17

Клаус слышал звуки раннего утра: кряканье уток, пение птиц, пыхтенье первого парохода, проходившего в шесть утра. Открыв глаза, он поразился маленькой величине окна. Одежда на спинке стула была не его: шорты, блузка, платье, фиолетовые колготки. Остаток аромата духов от подушки... а из-под нее высовывала уголок *agenda*, книжки-еженедельника, с листками бумаги, вложенными в нее.

Накануне произошло вот что. Вернувшись с виноградников, они простились с Меклером и Штольц и пошли вниз к себе, и на этот раз Клаус, запасшийся настоящим фонариком, их вел, и сестры шли позади держась за руки. Он оставил их разговаривать в салоне и пошел посидеть на скамейке, слушая движенье воды

и тишину блаженного места. «Блаженство — вот точное слово», — сказал он себе. Очертания горы Риги он видел, и огоньки у ее подножья, где вспыхивал и гас оранжевый свет маяка, предупреждавший о возможном волнении, неожиданном и опасном для лодок и яхт.

Напитавшись покоем и благословив судьбу, вернулся он в дом по краю лужайки, чтобы не слышать хруста гравия под ногами. Он еще долго готовился лечь, рассматривал в зеркале бородку, искал ножницы ее подстричь, потом отвлекся на записи в книжке, обнаружил вдобавок чьи-то заметки в книге на полях («эта осень напомнила мне поездку с Вероникой в Зальцбург»: карандаш выцвел, и книге было тридцать семь лет, и что случилось с ними со всеми — с автором книги, с читателем ее, заложившим страницу билетиком люцернского... извините, женевского — троллейбуса, и с Вероникой? Только с Зальцбургом ничего не случилось).

Поднявшись в спальню, Клаус обнаружил, что на его половине постели кто-то лежит. Он посветил фонариком: Нора спала рядом с сестрой, и руки их переплелись по-детски. Лица светились умиротворением. Мужчина осторожно вернулся в салон, но стелить на диване он поленился и с легким чувством отмищения растянулся в чужой постели, чуточку взволнованный запахами женской одежды и именно Норы, отметив, что в чем-то они иные, чем связанные с существованием Доротеи. Он словно за нею подсматривал, шпионил с помощью обоняния.

Проснувшись теперь, ему захотелось событий.

Он немедленно вышел из дома к велосипеду. Часть крутого спуска — впрочем, подъема — он вел его, но по пологому месту поехал и затем, напрягаясь, одолел липовую аллею, спускавшуюся к таинственному особняку, обитателей которого — они там бывали, слышались голоса, — он не знал. Штеттер или Оберхольцер могли бы его просветить на их счет, но Клаус забывал спросить.

Он поднимался все выше по дорожке для пешеходов. Мимо фермы Бруно с коровами и бубенцами, — они на него посмотрели, а старик, высокий и крепкий, косил там траву завывавшей косой и его не заметил. Оглядываться было все интереснее: озеро расширилось во все стороны, снежные горы придвигались и новые выступали из-за горизонта, и ветер трогал высокие головки цветущих трав, и ветви черешни со спелыми ягодами оказались близко. Ими позавтракал Клаус: цвет бордовый на пальцах, сладкий и свежий вкус во рту. Под деревом устроена была скамейка, он сел. Ему хотелось плакать от счастья, — так в одиночестве, а вот в обществе хочется от счастья смеяться.

Словно кончился сумрачный лес жизни, чепухи бесконечной толпы, и свобода его овеивала чистым пьянящим воздухом. Мысль о сочувствии к раненым — там, в долине, в городах и везде, — мысль его догоняла и хотела встревожить упреком в бессердечии. Он не оправдывался. Он лишь подумал, что если он умирающий, то и спросят с него по-другому. Время усилий и повторений прошло. Он в полосе отчуждения. Он выстрадал, плача. Тех слез — о, горьких, разъедавших глаза — уже нет.

Солнце стояло над горою Риги, над озером. Чистые пухлые облачка висели в синеве. Он продолжал подниматься к часовне, — ухоженной, чистенькой, пахнувшей травами и увядшими фруктами. Ее колокол звонил, и еще гудел, когда Клаус подошел к двери. Из нее выходил в это время мужчина, они поздоровались приветливо, как бывает с людьми, встретившимися у дела священного и не обещающего немедленного дохода и всем очевидной пользы.

— Грюци, — сказал Клаус. — Вы священник?

Выяснилось, что нет, что он фермер Киль — а ферма вон та, неподалеку, и звонить он приходит по поручению общества односельчан. Они расстались полные дружелюбия, и Клаус еще постоял, пропитываясь свежестью воздуха, а зрение — синей дымкой питая, висевшей над долиной и лесом, и плившей к подножию гор горизонта.

Затем начал он спуск, нигде не утруждая педалями ног. Промчавшись через лес, он вылетел на открытое место. Внизу в долине открылся город, показавшийся игрушечным с такой высоты. Наполовину взят он в оправу крепостной стены; два церковных шпиля церкви обозначали ту часть, где учились и наставляли, молились и славили.

Клаус отпустил тормоза, велосипед набрал мгновенно скорость и мчался вниз. Ощущение хрупкости машины росло, и он жалел уже, что не имеет каски на голове. Автомобиль нагнал его и медленно перегонял. Он имел время разглядеть лица пассажиров, если б рискнул оторвать взгляд от дороги: нежное женское личико и массивную челюсть мужчины в кожанке. Он

и помахал из-за стекла велосипедисту в знак одобрения и ободрения; был ли он просто знакомый, Клаус не успел опознать: автомобиль его обогнал.

Спустя четверть часа Клаус переезжал железную дорогу по мосту, по дорожке, покрытой бордового цвета асфальтом, куда автомобилям заезжать не разрешалось. И странное дело — они подчинялись. «Невидимая сила закона, — говорил он себе с изумлением. — На родине моих предков не так: славянской душе дорог разгул и разбой, крепкий кулак милее улыбки мадонны».

С тротуара окликнули. Лео Штеттер там шел, и в каком виде: ботинки туриста, холщовая сумка. Кто бы подумал, что так выглядит капитан — и не одного швертбота. И не удивился бы, впрочем, узнав, что тот протестант.

— Кто-то из ваших очки позабыл у меня, — сказал Лео.

Очки? Разумеется, Доротей: она то одно позабудет, а то и вовсе другое.

— Увы, я не взял: не знал, что вас встречу. Вы не спешите? Тогда спешивайтесь, я вас увлекаю на встречу с людьми вашей земли.

Мост перейдя, Клаус примкнул велосипед к решетке набережной. Дальше пошли они рядом. Перед Львом — плачущим каменно-неизменно о швейцарских наемниках — они посидели. Они едва протиснулись сквозь толпу туристов японцев и многих других, наводивших фотографические аппараты, кричавших друг другу *cheese* и обнимавшихся с таким расчетом, чтобы скорбный лев помещал свою голову в кадр.

К ним подошли мужчина и женщина, — высокого роста в кожаном пальто, несмотря на погоду, — и роста среднего, стройная, в юбке до пят. Мужчина скуласт был, глаза с миндалевидным разрезом смотрели остро, подбородок массивен. Лицо женщины являло округлую русскость, да еще и тяжелая русая коса за плечами.

— Мы опоздали? — улыбнулась застенчиво женщина, протягивая им руку, и они столкнулись своими руками, приняв жест ее на свой счет.

— Не думаю, — сказал Лео. — Вы по-европейски точны.

То была, как постепенно вычислил Клаус, восходившая всё выше — выше, выше! — знаменитость, пианистка Семенова.

Мужчина тоже представился, но как-то невнятно, Клаус уловил только ...баев.

— Désolé, je n'ai pas saisi votre nom, — сказал Клаус, и Семенова перевела:

— Андрюша, он не расслышал твою фамилию.

— Она ему ничего не скажет, — отвечал колосс.

Лео вполголоса рассказал, что Надеж Семенова и господин — сестра и брат, но у них разные матери. Брат смотрел вопросительно на сестру, а та легонько пожимала плечами: по-немецки она не понимала. В одежде великана вдруг грянул гимн советской империи, Клаус сразу узнал эту напыщенную музыкальную фразу, — то был позывной телефона. ...баев встал и ушел разговаривать, а их окружила толпа юных японок, смеющихся, щебечущих что-то, возможно, танка и хокку.

— Андрюша большой олигарх, — сказала Семенова.
— Он покупает гору Пилатус.

Штеттер втянул голову в плечи и оглянулся на Клауса, и тот не мог понять, от страха ли уменьшился Лео или, напротив, пытаясь не засмеяться.

— А ваши планы, *Надеж*... столь же... высоки?

Семенова зарделась, и ее миловидность сделалась неотразимой.

— Я играю с Меклером, — сказала она просто. — А потом для короля Балдуина. Еще один шейх пригласил дать ночной концерт у него на танкере... нет, на яхте, но Андрюша сказал, что застрелит его, и тот отчалил.

— Кажется, организуется конкурс пианисток, — вставил кстати Лео. — Вы согласились бы?

— Не стара ль стала я для соревнований, — пошутила Надеж и похорошела еще больше. — Чем старше, тем опаснее — не победить!

Штеттер таял. Он готов был на всё. Он даже выслушал сбивчивые жалобы *...баева*: ему гору Палтус продавать не спешат, а он хотел всего-навсего срезать неровную верхушку, построить аэродром, горный гостиничный комплекс.

— Говорят: наша гора в списке чудес мира, она охраняется государством. Ладно, хорошо, — разве мало ему чего охранять? Я буду хорошо охранять! Я наличными плачу, — волновался олигарх и портил русские падежи, — я наличных кладу гора, говорю: смотри, какая моя гора, красивая! Бери мою гору — давай твою.

— Передайте брату мой совет, — вздыхал Лео, — пусть купит команду регби в Австралии и привезет к

нам. Новинка вызовет любопытство. На Пилатусе гостиница, увы, уже есть, вы играли там с Алёшей Апрельским, не правда ли, принцу Ш...?

— Знаете, как она играет? — вмешался Андрюша. — Она так играет, что весь аул плакал. Потому что она сирота. У нее нет никого, кроме брата от другой матери. Поэтому она так играет, что все плачут.

Пианистка перевела, и великан в кожанке встал. В последней надежде на сотрудничество он оставил Штеттеру визитную карточку и откланялся, вернее, что-то буркнул и пошел прочь. Пианистка помахала рукой на прощанье. На кусочке плотной бумаги кириллицей было написано: *Андрей Карнаумбаев. Предприниматель.*

— Как богата ваша страна талантливыми людьми! — восхитился Лео, готовый благодарить Клауса и за это. Он собирался продолжить, но тут перед ними предстал высокого роста старик и представился Клаусу Розенкранцем. Голубые глаза его сияли честностью и прочной верой в конечную справедливость.

— Ах, Клаус, я должен был раньше подумать о вас и пригласить! — сказал, сожалея, Лео. — Мы отправляемся в паломничество на место отшельничества брудера Клауса! Вы знаете, правда? Патрон небесный Гельветического Союза. Два дня пешего пути.

Доротей просыпалась, лениво протягивая руку на соседнюю подушку, трогая волосы на голове и настораживаясь, — из-за жесткости их вместо шелковистой

податливости шевелюры Клауса. Резко поднявшись, она увидела голову сестры и сказала:

— Фу.

И тут же соскочила с постели, — в ночной рубашке с красной каемкой. Нора следила за ней, притворяясь спящей, и только после ухода сестры спрыгнула на пол. Она сгибалась и разгибалась, размахивала руками, напрягала мышцы живота... покрытая ровным красивым загаром, словно булка, вышедшая из печки опытного пекаря. Трусики с оборками мешали сказать с уверенностью, практикует ли Нора нудизм.

— Ты будешь завтракать? — донесся спокойный голос. На него поспешила Нора, надев шорты и тишортку.

— Какая ты загорелая, — равнодушно сказала Доротея. — Я тоже хотела бы, но мне лень. Мне скучно лежать на солнце.

— Теперь есть мази... мазь для загара.

— От нее, кажется, рак.

— Преувеличивают. И не сразу.

Сестры родились от разных отцов, и поэтому темпераменты их не сходились. А мать была одна, и это наложило неувловимое сходство.

— Поедем в Рио, Доротея, — попросила Нора. — Ты побудешь недельку, другую. Или сразу уедешь, если не... Ты ведь летишь в Нью-Йорк?

— Осенью.

— А Клаус?

— Он хороший. У него своя жизнь. Он тебе нравится?

— А тебе?

— Очень. Мне даже хочется, чтобы он остался... — сказала Доротея, розовея.

— Он мог бы работать в Бразилии лесоводом.

Сестра засмеялась — нет, захохотала страшно и неожиданно. Впрочем, Нора знала эти приступы смеха, не вязавшиеся с ее обычной молчаливостью, доставшейся от ее отца. Норе этот смех — над нею — был неприятен.

Доротея вытирала слезы уголком бумажной салфетки.

— Клаус весь в литературе, — сказала она, еще фыркая.

— Вот и прекрасно: он напишет книгу о новом опыте, — с досадой отвечала Нора.

Они молчали, чтобы вполне помириться.

— После смерти Бернара я не привязываюсь к мужчинам. Бернар меня едва не утащил на тот свет.

— Какие мы разные... Мне хочется видеть радость людей благодаря моим усилиям. Ну, почему я не врач!

— На врача надо долго учиться, — усмехнулась Доротея.

— Не понимаю, что нас связывает?

— Главным образом, дом, который нам нельзя продать, — вызывающе сказала та.

— Сколько еще нельзя?

— По завещанию — восемь лет.

— Ох!

— Если у одной из нас родится ребенок...

— Ой-ой! — Нора закрыла лицо руками.

— И капитал: гадкие проценты!

— Есть где жить и что есть, но не с чем действовать.

— Мама знала, как нас беречь после смерти.

Они замолчали. Озеро переливалось солнечным блеском, отражая. Яхта стояла на рейде. Сестры слушали пение птиц. Зяблика трель повторялась во влажной тени рощи. Отсутствие Клауса объяснилось тем, что отсутствовал и велосипед на крыльце.

— А что говорят... врачи? — осторожно сказала Нора, отвернувшись к окну.

— Уклончивы. Да такой ребенок стоил бы много денег. А годы идут.

Доротея подошла к Норе совсем близко, и продолжала почти шепотом:

— Ты знаешь, я думала... Твоего ребенка я бы очень любила. Роди мне его, Нора.

Наступило молчание, — то, какое между ними бывало в отрочестве: полное соединение в родственности, слияние, когда одна уже не отделялась ничем от другой. И ни в чем не могла б отказать. А потом, когда собственные очертания каждой опять проступали, они переживали приступ взаимной ненависти, — словно только так они могли разделиться на два независимых существа и жить.

Нора шумно вздохнула.

— Пойду загорать, — сказала она твердо. — Ты со мной? Дора, пойдем! Помнишь, как мы вместе ходили, когда папа́ и маман еще жили вместе?

— Мне лень, — по-кошачьи потянулась Доротея, притворяясь. — Я буду читать. Кстати, прочти-ка на берегу распоряжение мэрии: здесь нудизм запрещен.

— И есть специальный часовой, который ходит и подсматривает, — засмеялась Нора.

Нарушителю постановление грозило ощутимым штрафом (разумеется, денежным). Берег казался безлюдным. Какой зануда в будний день будет выслеживать нудистку?

Поглощенная своими мыслями Нора пошла по тропинке, останавливаясь в рассеянности и вспоминая о своем намерении.

19

Клаус одолевал главный подъем длиною в два километра. На половине он уже изнемог, несмотря на чудесные свойства современного велосипеда с его переключателями скоростей, и так до самой медленной — но и самой сильной.

Пот полз каплями по лицу и спине, и колени вспотели. Брюки к ним прилипали, больно их терли и увеличивали трудность. Не проще ли сойти на асфальт и вести машину руками, говорил себе Клаус, каждую секунду собираясь сдать, но вот еще метр он проехал, и еще, и еще вооон до того фонаря...

Так он и поднялся на перевал, а с него уже одно наслаждение мчаться, рассекая воздух и радуясь швейцарской прибранности, — в Галлии попался бы уже наверное камень под колесо, и он давно летел бы, молясь ангелам и сожалея об отсутствии каски.

Дорога стала пологой. Синева озера стояла за деревьями, просвечивала сквозь кроны, сливалась с небесной. Клаус въехал за ограду парка и начал спускаться по дорожке из гравия.

Особняк был на этот раз обитаем: в открытом окне стоял человек и рассматривал что-то в бинокль. Плечи

его ходили, он шумно вздыхал, почти всхлипывал, — вероятно, он взволнован был зрелищем. Взгляд его, судя по наклону бинокля, направлялся в угол парка, там, где дорожка пролегла мимо ботхауса и перрона на сваях. Блеснули стекла на яхте, стоявшей на рейде: и оттуда смотрели, — смотрел в огромный бинокль седой капитан.

Подстегнутый любопытством Клаус туда и направился, — в угол, богатый тенью, затем открывавшийся сразу воде и солнцу. Лебедь сидела на яйцах и, утомленная, лишь вынула клюв из крыла, но не стала шипеть на него.

На горячем деревянном перроне лежала обнаженная женщина в черных очках. Замечательно ровный загар покрывал ее стройное тело; лишь вокруг черноволосого священного островка кожа осталась светлой.

Пораженный внезапностью и красотой картины, Клаус не двигался и не дышал. Не сразу он понял, что видит Нору, — кто не знает, что женщина без одежды совсем не похожа на себя одетую?

Он так бы стоял и смотрел, если б нечаянно не шагнул, потеряв равновесие, на ступеньку, и поручень загудел от толчка. Женщина встрепенулась и вскочила на ноги легко, прыгнула мимо него к деревьям, под защиту листвы и тени. Ветвями раздробленный солнечный свет покрыл ее пятнистою шкуркой.

— Нора, стой... — пробормотал Клаус. — Мне нужно тебе много сказать...

Нора испустила восклицанье борьбы и встала боком к нему, в позу, готовая к схватке, выставив руку

ладонью вперед. Клаус не сводил с нее глаз, оцепенев — от восхищения ли, от новизны положения... — От восторга я не могу пошевелиться, — сказал он себе. — И не хочу шевелиться. Я желаю быть пленником этой женщины.

Напряжение спало. Нора сняла очки и смотрела на Клауса насмешливо, не испытывая, по-видимому, никакой неловкости.

Разинув рот, созерцал Клаус голую Нору. В его желании дотронуться было больше детского порыва убедиться, что это не призрак, не голография голой женщины, а сама она — восхищающая прохладной кожей, упругостью груди и ягодиц, чувствительностью складок. Ему требовалось немедленно подыскать название — нет, имя — священному месту. Лобок, холмик, хохолок — все ему казались грубоватыми и несколько медицинскими.

— Ну, говори, — сказала она.

— Я боюсь, что эта встреча прервется...

— Разумеется. Ты сказал. Уходи, мне надо одеться, я не могу при тебе.

Клаус пошел прочь, ведя свой велосипед, и оглянувшись малодушно, но той нагой женщины позади уже не увидел. А перед ним показалась другая, тоже нагая, однако, увы, бронзовая нимфа фонтана. Ее толкал сзади козлоногий ребенок-сатир, и она улыбалась, пытаясь сохранить равновесие. Львиная пасть держала кусок заржавевшей трубы, вода лилась из нее.

Клаус хотел облизать пересохшие губы, но и во рту было сухо. Сердце же билось, словно после подъема в

гору. Он набрал в пригоршню воды и с жадностью выпил.

В полдень за столом Доротея поглядывала на него и на сестру, чувствуя неуловимую не определимую связь между ними, тонкую, — не толще осенней паутинки.

20

Сквознячок гулял над головами собравшейся публики, огромная яма партера притягивала взгляды заполнивших ярусы. Спрятанные источники проливали рассеянный свет, несколько призрачный, при котором программку Клаус читал с затруднением. Висел гул разговоров. Раздавались редкие хлопки нетерпеливцев. Музыканты сидели на своих местах, но еще шевелились, поправляя ноты, нагибались вперед.

Вспыхнули и погасли аплодисменты: Меклер прошел быстрым шагом и, не раскланиваясь, встал за пультом спиной к меломанам и публике. Поднял руку. Взгляды тысяч глаз скрестились на нем, и он почувствовал твердую точку энергии у себя во внутренностях, пружину, его взвели словно курок пистолета — и выстрел обернулся прозрачной нотой скрипки. Альты и виолончели поддержали ее, увеличили массу звучания, и тогда вступили контрабасы. Понадобилось дуновение флейт и вздохи труб, зарокотали барабаны.

Тяжелый корабль симфонии, за секунды построенный, оторвался от грешной земли, развернул паруса и поплыл, подчиняясь воле дирижера, а тот кивал головой, вытягивал шею к валторнам, плечом останавливал забегавших вперед и им же подавал знак ударнику.

Вот для чего нужна музыка: отдаться бездумью. Кончилась пустыня понятий и слов, им не справиться со всем, что мы жили и прожили, с изнеможением ужасов смерти. Молчание неба расступилось, корабль звуковой свободно летел и вез нас туда, где не было грубых веществ и зла для души.

Клаус сестер не касался, они просто рядом сидели, Нора рот раскрыв, Доротея потупившись, их пронизывал ток родственности и родства, и незнакомые люди чужды им не были тоже. Длился миг единения всех, — и умершие отозвались из далей своих несусветных. Клаус помнил их всех. «Человечество — мы, — сказал он себе, — мы любящие, мы земной шар Любви!» Сам композитор, источник, через который нам всем вылилась эта музыка, умер день-в-день сто лет тому назад.

Клаус увидел знакомые головы: Штеттер сидел, подавшись вперед, Оберхольцер сидел прямо, положив руки на поручни кресла, как фараон на троне. Розенкранц кивал в такт.

О, дайте нам звуков, соединенных в гармонию, если уж все остальное — наброски, начатки, мыльные пузыри гипотез!

К пению струн, к звучанию воздуха в трубах вдруг добавился человеческий голос. Словно всей массы коснулся волшебник — и оживил, и все невольно вздохнули, — так пришло облегченье надежды. Так бывает: в горном пейзаже прекрасном, холодном — неожиданно увидеть домик и дым над трубою. И Меклер смягчился, его движения сделались плавными,

предупредительными, он более не командовал, он вел ее в танце.

Когда симфония завершилась, Меклер стоял еще, вытянув руку, защищая драгоценные секунды молчания, — пусть корабль отойдет в высоту и исчезнет из виду не разрушенный, недоступный самодовольным крикам похвал и глупому плесканию рук. Он палочку наконец опустил, но еще не поворачивался, и тишина продолжалась. И потом только он повернулся и спокойно смотрел, пока хлопали, потом *бис* закричали. Нора аплодировала бурно, Доротея скорее для виду, и Клаус сидел не двигаясь, еще наслаждаясь цельной неподвижностью тела.

Бис, в сущности, был не к чему после такой отдачи душевных и физических сил — и музыкантов, и публики, но юбилейный концерт без него не мог обойтись, это расценили бы как провал. Впрочем, Меклер умно поступил: певица спела из *Песен о мертвых детях*. Тем почтили память композитора и ребенка его, и столь многих детей, и умерших всех. Клаус подумал, что пение касается его личной судьбы — смерти ребенка того не родившегося, убитого в чреве, за которую он заплатил потом другими смертями и ужасами.

Предстояла еще питейно-общественная часть торжества. Клаусу хотелось от нее уклониться, и, вероятно, никто не огорчился бы этим. И сестры чувствовали скорей утомление. Они спускались по лестнице боковой, чтобы не попасть в сеть служителей, расставленной у главного выхода, но и тут приблизился господин незнакомый и обратился к Доротее:

— Госпожа, маэстро вас очень просит...

Потом повернулся и к Норе и Клаусу:

— И вас, разумеется, тоже — не спешить уезжать, придти разделить радость дружеского общения.

При входе в небольшой зал лежали на столике букеты цветов, и сердце Доротеи испуганно сжалось, — один предназначался, разумеется, ей, вот этот с розовой розой посередине, окруженной рядовыми астрами, ромашками и мимозовой мелочью. Из черно-белого кома оркестра тотчас выделился Меклер, возбужденный, сияющий, помолодевший, и быстро подошел к сестрам и Клаусу, а точнее, к Доротее — и приглашал куртуазно, предлагая руку. Часть улыбок нечаянно досталась Норе и Клаусу, неизбежному приложению к Доротее, — она, впрочем, не спешила от них отрываться, напротив, схватила сестру за руку и потащила за собою в толпу музыкантов, а Нора схватилась за Клауса. С облегчением Клаус увидел фрау Штольц и ее схватил за руку и потащил, несмотря на ее попытки освободиться и скрыться. Она понимала, что Меклер от нее не уйдет, но сейчас ему нужно дать растратить энергию. Пусть захлебнется само его увлечение! Главное — не дать маэстро повода вылить гнев на нее. Штольц схватила за руку Штеттера на правах дальней почти родственницы, и он не противился, наоборот, весело замешался в толпу музыкантов и, увидев пианистку Семенову, ее потащил за собой. Так получился сам собой смешной хоровод, всем стало непринужденно, тем более, что первый бокал шампанского уже метнул свои искры вкуса и эйфории в глотки и пищеводы.

— Друзья, позвольте мне произнести тост, — сказал Меклер негромко, вовсе не заботясь, чтоб установилась тишина среди музыкантов и их приглашенных. — Вы все люди искусства и все знаете, как велико значение муз — и не только великих невидимых, но главное — их земных воплощений! Так вот — мы выпьем сейчас за музу сегодняшнего концерта! Ее зовут Доротея! Ура!

Оркестр грянул. Доротея бледнела. Через силу она улыбалась, возмущаясь в глубине души двусмысленностью положения и польщенная вместе с тем. Как трудно быть женщиной в мире искусств. Клаус и Нора стояли рядом, и мужчина держал ее руку демонстративно, тормозя развитие мыслей присутствующих в скабрезном направлении. Штеттер был тут, он немедленно громко поздравил Грегора, сравнил его с Тосканини и потеснился, давая выйти вперед Семеновой, сиявшей от такого продвижения, блестящей красивыми плечами, улыбавшейся всем. Штольц спряталась за рослым тромбонистом Пфлицнером.

Меклер чувствовал, что искусство дало ему право приблизиться к Доротее, но до предела известного. После всех воздушных подвигов сегодняшнего концерта, после успеха на донышко сердца упало зернышко горечи невозможности продолжения. Его тело требовало своей награды за эти часы махания палочкой, за все напряжение глаз и ушей. Он еще сделал попытку: по знаку его барабанщик Полянски принес букет и вручил, — тот самый, с роскошной розовой розой посередине разноцветных ромашек. Он показался Доротее обузой, почти вымогательством. Под предлогом того, что ее руки заняты сумочкой, она букет

отправила Норе, и той он понравился, однако был неприятен тем, что предназначался сестре. Тогда зачем он ей? К счастью, Элиза Штольц высунулась из-за Пфицнера.

— Возьмите, *гнедиге фрау*, это вам!

Гувернантка Меклера торжествовала и страшилась. Но прибыли новые гости, желавшие поздравить и тем принять участие в успехе, себе заполучить малую толику общественного тепла. Толкался Карнаумбаев в кожаном пальто, русский банкир Клонов в официальном костюме цвета обмоченного асфальта, еще архитектор, специально приехавший из Петербурга, тоже Клонов. Министры города, раскланявшись, стояли плотной кучкой и беседовали вполголоса. Был заезжий актер, знаменитый, не сходивший с экрана телевизора: его пригласили однажды рекламировать жевательную резинку, *клип* оказался сущим шедевром, его посмотрели восемь с половиной миллиардов телезрителей.

— Так попросим маэстро поделиться с нами своим успехом!

Призыв этот сделал директор — точнее, капитан концертного зала, — и тотчас вокруг него и Меклера освободился круг. Туда попали первая скрипка, певица. Штеттер вытолкнул хорошенькую Семенову.

— Сегодня концерт посвящен композитору: в этот день он и умер ровно сто лет тому назад, — сказал Меклер. — Рядом с нами нет еще одного человека... дамы... она провозвестила успех... — Он глазами искал. — Доротея, прошу вас!

Ей пришлось выйти под любопытные взгляды.

Уклониться было нельзя, и Доротея приняла вызов: она вскинула голову и с улыбкой смотрела вокруг себя. Ее синее с блестками платье походило на тунику и кстати вызывало впечатление жрицы почти античной, богини. Меклер поводил глазами в поисках атрибута и нахмурился, увидев букет в руках Элизы. Та поспешно приблизилась и вручила его избраннице вечера. Нора фыркнула рядом с Клаусом, и он сжал ей локоть, опасаясь, что она испортит момент приступом смеха. К счастью, протиснулся с поздравлениями Дюпон, комедиант из далекой Лютеции, знаменитый актер кино, которого звали *человек отовсюду* с тех пор, как он снялся в рекламе *кварка*, национального йогурта, употребляемого с некоторых пор и в современной физике. Он улыбался и подмигивал с тысяч баночек и коробочек, и теперь он улыбнулся Меклеру и подмигнул. Фрау Штольц тут же мысленно проверила, в должном ли количестве в ее холодильнике кварк.

— Браво, маэстро! — Дюпон крепко пожимал руку ему, улыбнулся и подмигнул, кивая в сторону Доротеи.
— Прекрасна ваша муза!

Больше сказать ему было нечего, да и не нужно. В последующую четверть часа был раскуплен весь запас кварков местного буфета. И немало шампанского выпили меломаны, а также пива. К вину горожане относились с осторожностью, опираясь на прочные католические — да и протестантские — традиции страны.

Таким и запомнился им финал вечера памяти умершего век тому назад композитора: в кругу черных фраков музыкантов, кипящем белыми манишками и

сорочками, стоял их дирижер и рядом с ним похожая на жрицу в синей тунике красивая женщина. Неподалеку по праву близких, вероятно, знакомых располагался мужчина с седыми висками и стройная гибкая женщина, которых они не знали. Был еще всем известный и симпатичный Штеттер и пианистка Семенова, все более известная и все более талантливая. К ней имел какое-то отношение громоздкий мужчина в кожаном — несмотря на весенний вечер — пальто. Оберхольцер и Розенкранц тихо разговаривали. Во внешнем кольце виновников торжества ждала своего часа гувернантка Штольц. И тут трое молодых скрипачей проявили самоуправство, желая сделать приятное Меклеру: они неожиданно заиграли за спинами коллег *Письмо Элизе*. Ах, молодежь, молодежь!

21

Водитель Самсон дежурил поблизости, следуя распоряжению Штеттера, попадаясь на глаза Грегору и вводя мало-помалу тему вечного возвращения домой, к привычному. К нему приближалась постепенно Элиза с приготовленным пледом, улучая момент, когда его удастся безболезненно на маэстро набросить. Клаус и Нора по-английски ушли за Доротеей в полутемное уже фойе, а потом и на набережную. Сидел еще тромбонист Пфизнер, великан одиночка, допивая очередную бутылку и сокрушенно себе говоря. Люди искусства часто весьма одиноки.

— Это был *ник*, — сказала Доротейя, радуясь освобождению от позы и роли музы, снова став частным лицом.

— А все-таки ты принесла частичку удачи, — заметила Нора. Клаус молчал, держа под руки сестер. Волны легко плескались о парапет, белели холмики спящих лебедей, покачиваясь в темноте, в отблеске света фонарей набережной и аллеи.

— Здесь хорошо посидеть, — сказала неуверенно Доротея, кивнув в сторону стульев, окруживших домик летнего кафе. Был еще один посетитель, бравого вида старик с посохом пешехода. Аллея вдоль набережной, днем наполненная гуляющими, казалась пустынной. Обнявшись, шла парочка. Проехал велосипед.

Объятые теплой весенней ленью, они сидели, став частью городского пейзажа, не имея желания двинуться, ни о чем не тревожась. Огоньки селений мерцали на других берегах озера причудливой формы, точнее, бесформенности, ночью, впрочем, недоступного взгляду.

— Это покой, — сказал Клаус.

Сестры промолчали, не желая его тревожить и соглашаясь. Жужжа мотором, проехал мимо троллейбус. Аллея мощных старых лип образовывала границу между двумя мирами, безмолвного озера и ярко освещенной улицы и гостиниц на противоположной стороне. Среди них выделялась та, где Лев Николаевич попытался преодолеть волевым усилием неравенство классов. Дело завершилось благополучно интересным рассказом в собрании его сочинений.

— Я скоро уеду, — сказала Нора. — Меня ждут дела в Рио.

— Не пора ли тебе устроить жизнь, — отозвалась Доротея. — Да и мне заодно.

— Что? — не поверила своим ушам ее сестра. Ее изумление — неподдельное — рассмешило Клауса, и он против воли расхохотался. Доротея приняла его смех на свой счет.

— Что ты так смеешься? — досадливо сказала она. — Смех без причины, знаешь ли...

— От счастья люди глупеют, — примиряюще заметил Клаус.

— А от глупости делаются еще счастливее.

— И еще больше глупеют, — упорствовал он.

— И смеются еще больше.

— И еще счастливее.

— И еще больше глупеют.

— Какая-то в этом безысходность... — отчаялся Клаус.

Нора переводила взгляд с одного на другую, словно следила за матчем в пинг-понг.

— Проиграл, проиграл! — захлопала она в ладоши и показала ему язык. Доротея посмотрела на сестру благосклонно и даже с особенной теплотой. А Клаус почувствовал, что они соединились в подобие оппозиции.

22

Черный вороний фрак Меклера скрыла темнота, белая манишка отделила его лицо и голову от остального тела, повесила в воздухе, сделала страшноватой картину. Элиза к ней привыкла давно, в молодые годы она ее возбуждала, обещая парение и полет, но теперь она не сразу догадалась, почему щуплый умелый

водитель Самсон посмотрел на Меклера беспокойно. Он казался мячом, заброшенным ловким ударом судьбы совсем в другую корзину.

Нахлопавшись, разошлись меломаны. Дирижер утомился от выражений восторга. Только он один и знал, что не все было гладко, что во второй части слегка вякнула виолончель старательного обычно Кноха, а в другом месте брякнул ударник Шмит. Тромбонист, всегда распалывшийся во время игры и дувший все лучше, сегодня был тускл.

Теперь Меклер переживал, как обычно после концерта, приступ тоски: его надежда на что-то такое, что словами не передать, опять не оправдалась. Он на земле так и остался, как ни подпрыгивал на возвышении пульта, как ни размахивал руками. После наскока унынья всегда неожиданно приходило тепло при взгляде на верную Элизу, его не оставившую, конечно, мешавшую приближению почитательниц, настоящих или корыстных. Или сегодня: она помогла ускользнуть загадочной Доротее, почему-то не оценившей внимания славы, которое он подарил жестом одним, выведя в прожектор взглядов. Ее отделить от кома людей не получилось, с ней Клаус, Нора зачем-то, — они тоже мешали схватить и выпить жрицу, словно кубок жизни, до дна. И отбросить потом? Ну нет, зачем же бросать... Поставить на полку в шкафчик.

Меклер помог экономке спуститься с высокой ступеньки чудовища-джипа, Самсон следом нес букеты и городской костюм дирижера. На пороге дома тот отпустил шофера. Они остались вдвоем: оба в праздничном платье. Широкие во всю стену прозрачные

окна не мешали темноте наполнить залу. Далеко на противоположных берегах мигали огоньки селений, и среди них оранжевый выделялся, остерегая ночных яхтсменов и лодочников-рыболовов, не застигла б их внезапная буря.

Среди записок и конвертов на столике, среди поднесенных цветов Меклер заметил и свой букет, предназначенный Доротее и ей врученный, и сердце его упало: оборвалась последняя нитка надежды. От него ничего не удержали на память. Элиза заметила взгляд мэтра и поняла мгновенно его ощущение, и даже сама почувствовала нечто похожее, — их сращённость сиамская доходила вплоть до общего чувства печали от неудачи такого рода, какой гувернантка способствовала сама, и ее желала. Она молчаливо праздновала победу и — сердечно оплакивала ее, боль дирижера переживая. А ярость того поднялась на секунду и угасла, и провалилась в яму прожитых совместно лет.

— Завари, пожалуйста, липовый цвет с мятой, — сказал он, не придумав ничего лучшего, подставляя привычные рельсы существования. И вагончик на них вскочил и поехал. Меклер позволил себе рюмку арманьяка, Элиза удалилась в кухонное царство и вскоре вернулась с пузатеньким чайником, чашками, с бисквитами из муки полбы, то есть дикой пшеницы, древней, библейской. Ее ввели в моду не так давно монахи Галлии.

— А Клетцер играл превосходно, — сказал Меклер, — даром, что ему почти восемьдесят.

— Арфист подкачал, — сказала Элиза.

— Ну, его и не слышно! Надо быть Малером, чтобы вообще ввести арфу в оркестр. Таких ушей ни у кого не бывает.

— Кроме тебя, — мягко и любовно заметила бывшая флейтистка, давно уже не подносившая ко рту другого инструмента, чем ложка, пробуя блюдо.

— Элиза, — вдруг сказал он. Когда он называл ее по имени, это означало ласку и потребность в любви. Гувернантка вспыхнула и посмотрела на него умоляюще. Ее постигла метаморфоза: в вечернем платье, обнажавшем ее плечи и руки, с прической, умело собравшей волосы в девичий пучок на затылке, продуманно небрежный, она показалось ему той самой молодой инструменталисткой, которая тридцать пять... нет, уже сорок лет тому назад сидела в оркестре среди духовиков. Впервые выйдя к ним на репетицию, он увидел ее, взгляд блестящих прекрасных глаз, и почувствовал, что она и есть душа собравшихся музыкантов. И потом они выучили *Письмо Элизе* и всегда играли его на бис. Пока не наскучило. Да и Элиза к тому времени превратилась в фрау Штольц и более не играла, переехав в дом мэтра.

Меклер притянул ее к себе. Эльза не противилась поцелую, напротив, она ответила ему с неожиданной страстью. Дирижер провел рукою по виолончельным формам ее, разыскивая самые чувствительные струны, но она шепнула ему о душе, который ей захотелось принять после наполненного движением дня, и он отпустил ее.

Оранжевый маяк вспыхивал на противоположном далеком берегу, оповещая о неожиданном шторме.

А Семенова летела на крыльях. Началось со звонка маститого критика музыковеда Клюгера: он попросил об интервью, они встретились в холле *Швицгофера*, сидели под пальмой за столиком круглым, и чашечки с золотым ободком поблескивали как улыбались, и ароматный кофе бразильский щекотал стенки изящных ноздрей пианистки.

«Как хороша! — сказал себе Клюгер, — Штеттера можно понять». Хорошо бы послушать игру этой чудной славянки с глазами газели, она вкладывает в нее, возможно, всю душу, но некогда: статейка о восходящей звезде должна появиться завтра. Газета живет один день. Если же увлечение винодела серьезно, то придется писать в бернский журнал. Тот живет месяц. О книге думать рано: неизвестно, во что выльются их отношения, хотя намерения католика Штеттера, несомненно, серьезны: таким состоянием не шутят. И не оно принадлежит Штеттеру, а он ему, и вместе они — городу и стране.

— Расскажите мне о вашем детстве, Надеж, — попросил Клюгер. — Оно ведь прошло среди гор вроде наших? Есть ли в ваших местах леса, где юное ухо впервые слышит пение птиц?

— Собирать хлопок я не любила, — сказала Надежда. — Пальцы становились грубыми и болели.

Клюгер не понимал.

— Хлопок? Почему вы его собирали? Инициация советского подростка? Посвящение во взрослого? И почему руками?

Надеж побледнела, словно хлопок, о котором обмолвилась. Стоит начать объяснение, как оно поведет дальше и дальше от этих синих гор, от озера с лебедями, от высоких залитых солнцем окон. От человеческой жизни. Это опасно: ад своих детей караулит, зовет назад своих Эвридик.

— Я не смогу вам сразу всё объяснить! — сказала Семенова с отчаянием в голосе.

— Хорошо, хорошо! — испугался музыковед. — Лучше скажите, какую пианистическую пьесу вы играете с наибольшим удовольствием?

Карнаумбаев их разговора не слышал, хотя видел их прекрасно со своей балюстрады, опоясывавшей холл гостиницы на уровне этажа. Он сидел за столиком один. Положив рядом газету, для вида раскрытую на финансовой странице: вот серьезный господин в дорогом кожаном пальто, думают случайно проходящие постояльцы. Пусть, — подумал *новый русский* Карнаумбаев. А сам вспоминал детство, уборку хлопка, юных пионеров в тубетейках, сладкие изумрудные дыни. Мальчика уже прочили к восхождению наверх, заботились об образовании его, чтобы истина вошла в вихрастую голову, и стал бы он выдающимся секретарем комсомола.

Вдруг началась настоящая жизнь: стрельба, засады, доллары в чемоданах. Судьба вытолкнула его на арену международную. Приезжая в город, он облюбовывал гостиницу — добротную, неприметную, непременно поближе к парку, и покупал ее для ночлега. Так удобнее: надоедят люди — *мест нет*, скучно без них — добро пожаловать. И коллегам есть где ночевать без

паспортной волокиты. Хотелось попробовать свои силы за океаном, уже и пора, многие получили там деловое крещение и стали крестными.

Сначала сестренку пристроить. Карнаумбаев выбрал город с богатой музыкальной и просто жизнью, купил гостиницу и замахнулся гору приобрести в окрестностях и там новую построить, однако отцы города крестного в свою компанию не захотели. Не сразу к новому люди привыкают. Придется в обход. Футбол прикупить, гандбол, регби из Австралии привезти, на майках их свое название написать. Люди свистят, хлопают, запоминают. И отцы города видят, что дело нужное, хорошее. А Надя хорошенькая. Играет хорошо. Карнаумбаев тоже любил поиграть на инструменте народном: пластинку особую зубами зажмет, кончик ее вибрирует и стонущий нежный звук летит из окна его кабинета над улицей, озером, вдаль куда-то, в далекое детство под жарким азиатским солнцем.

— Спасибо, Надеж, за интересный рассказ, — сказал Ключер, готовясь откланяться, видя подходящего к ним Штеттера. — Я лучше теперь себе представляю истоки вашего искусства.

— Если вам нужно продолжить, — сказал Лео, — продолжайте.

— Не смею задерживать, — улыбался журналист. — Беседа с госпожой Семеновой доставила мне изысканное удовольствие. Тонкость ее восприятия восхищает.

Лео Штеттер мог бы и сам поговорить и написать, но не стремился к тому: роли распределены, жизнь города хотя и казалась произвольной, однако в действительности была даже и не спектаклем, а почти машиной,

смягчаемой тем, что люди все-таки улыбаются. Сладкой, правда, она становилась в кино.

— Редкое дарование госпожи Семеновой нашло свое место среди уже накопленных музыкальных сокровищ, — сказал, улыбаясь, критик.

— Надеюсь, ваш пронизательный анализ игры нашей звезды откроет ей новые перспективы?

— Я сделаю все, что смогу, — договаривал тот, любясь румянцем Семеновой, крепким сочным ртом, прядями черных волос, — судьбы звезд не в наших руках, мы лишь моем окна, чтобы их скорее заметили... Я имею в виду звезды, — нахмурился он, поняв, что двусмыслен.

— Вы очень любезны, — сказала Надеж просто, и Штеттеру стало скучновато: хочется от звезды пируэта, чего-то этакого!

Музыкальный критик откланивался.

Карнаумбаев, тучный, громадный, тем временем размышлял, не заняться ли доставкой если не хлопка и даже не пряжи, но уж готовой дешевой ткани? Однако досаду почувствовал: какие планы и виды, такой меткий стрелок — и вдруг потянуло быть торгашом. Стыдно.

Лео и Надеж продолжали общение, но уже в обществе крепкого приземистого широкоплечего немногословного человека, — нужно ли уточнить, что к ним присоединился домоправитель Бауэр, мозг *Stätter Estate*. Разговор принял странное для Семеновой направление, почему-то к ней имевшее то отношение, какое имеет манекен к готовому платью. На ней примеряли семейную жизнь.

— Если госпожа вступает в брак, то он сохраняется до развода, — сказал Бауэр. — Этот последний может наступить по следующим причинам: а) несоблюдение обязательств, указанных в пунктах 2 и 3, со следующими модификациями...

— Я ничего не понимаю, — встревожилась Семенова, нервно барабаня мазурку по краю стола.

— В самом деле, Бауэр, — обрадовался Штеттер, — мы попробуем изучить этот документ на досуге. В общих чертах вы ведь согласны, Надеж?

— С чем же? — прекрасные глаза пианистки полны были слез.

— Как с чем! Выйти за меня замуж.

Надеж побледнела как хлопок, а брат, сидевший поодаль, но все слышавший, почернел как нефть. Он скомкал газету — ее кремовый финансовый вкладыш — и сжал так, что косточки пальцев побелели. Он сам не понимал своих чувств.

Он желал ей счастья, конечно. Но она должна оставаться с ним, это ясно.

24

«Ожидание любви, — записывал Клаус, — создает для нас место, освежает пространство. Уж не оно ли ее и возвращает? И как бывает, что во чреве зачинаются близнецы, так и с любовью: вот Доротея и Нора, и выбрать нельзя, они вместе должны быть, мир первой и ярость второй, безмятежность и рокот. Так прекрасна равнина, и в тысячу раз она прекрасней, если на нее вбегает река и струится».

Было раннее утро, еще не прошелестел первый парходик с пассажирами, плывущими на работу в город. Он видел голову Доротеи на подушке, смотрел на кудри, лежавшие в пленительном беспорядке, и чувствовал умиление. Драгоценные эти миги, когда существование покойно, не нужно опасаться опять перемен, — а их могут вызвать слова, жест, неопределенное хмыканье.

Неслышно ступая, Клаус спускался выпить в кухне воды. А еще — взглянуть на другую спящую. Дверь в багажную не была заперта, он осторожно ее приоткрыл.

Нора спала, с головою укрывшись, из-под темно-синего легкого одеяла высывалось колено, загорелое, темное на фоне белой простыни. Клауса оно волновало, а он говорил себе, что это, конечно, желание приобретения, стремление познать. Как будто в этой другой женщине содержится знание новое и окончательное.

Нора вдруг сдернула с головы одеяло и посмотрела ему в глаза взглядом вполне проснувшегося или вообще не спавшего человека. Не выказывая чувств никаких. Клаус понял мгновенно, в чем дело: друг на друга смотрели родственники. Которые живут рядом и вместе, не ища ни объяснений, ни оправданий.

— Доброе утро, Нора, извини, я заглянул, — сказал Клаус, пытаясь спрятаться за очевидность.

— Окей, — протянула Нора и закрылась опять с головой, оставив колено открытым.

Она отдыхает перед действием, сказал себе Клаус и отправился в парк бегом трусцой, как делал и раньше.

Солнце вставало ярким пятном в тумане, утки кричали, и курочки водяные тоже вскрикивали. Интеллигентного вида ворона шла с куском хлеба в клюве — а вовсе не сыра далекого монархического века. Хлеб зачерствел: она окунала его в лужицу, размачивала. «Птица догоняет в своей эволюции человека», — сказал себе Клаус и взял на заметку ворону.

Он чувствовал, что отношение местности к нему изменилось в последние дни: показался предел его гостеванию, раньше, чем настигло уныние поселившегося навсегда. Он отправился проведать гнездо лебедей. С крохотного искусственного островка слышался писк и клекот белоснежной мамыши, а супруг ее покачивался на волнах вблизи. Молчаливое общение пары походило на ожидание вместе чего-то. Пройдя вдоль ботхауса по деревянной дорожке на сваях, Клаус вышел к завершавшей ее платформе и ступеням, спускавшимся к прозрачной зеленоватой воде. Водоросли шевелились на дне словно волосы.

Клаус разделся совсем, рассудив, что в тумане не виден, вдобавок час ранний и будний, и лебедям безразличен мужчина. По ступенькам он в воду спускался постепенно, холод его обжигал, поднимаясь поясами все выше. Он бросился в воду, нырнул и поплыл, отдаваясь стихии, ища ее дружбы, чувствуя тело как один большой мускул. Упругость бытия! — воскликнул он, не зная, вслух или про себя.

Он плыл наслаждаясь, пока тело не предупредило, что замерзает, что скоро подступит фаза страдания, и он повернул к причалу. Фыркая, шумно вздыхая, лоснясь, он вылез на нижнюю ступеньку лестницы и

взбежал, сея брызги. Краем глаза он увидел вблизи человека, а в следующее мгновение узнал Нору. Она смотрела на него не скрываясь. Усмешка была на ее лице, и странная, хищная. Обомлевший Клаус не знал, как поступить. Смесь незащитности, стыда, удовольствия его наполняла.

— Нора, что ты тут делаешь? — сказал он, чтобы прервать странное созерцание.

— Каково тебе быть женщиной? — усмехнулась Нора. Она одета была в черный обтягивающий костюм, в руках ее был ореховый прутик. Клаус больше не чувствовал холода. Наскок Норы был скорее спортивным, чем эротическим, и однако он не знал, как отозваться и во что его превратить. Он сделал шаг в сторону Норы, она не шевелилась, владея вполне положением. Его двусмысленность смягчилась появлением третьего лица: лебедь выплыл из-за ботхауса и решительно к ним приближался, словно был недоволен происшествием в его водах.

— Я сегодня уезжаю, — сказала Нора, словно оправдываясь. И не двигалась. Клаус обнял ее за плечи.

— Мокрый, холодный. Фу. — Сказала Нора, целуя его в губы, крепко сжав кисти рук. И отстранилась:

— Возьми полотенце.

Клаус обернулся за ним. Лебедь вдруг поднялся на воде, захлопав тяжелыми крыльями.

Норы на берегу уже не было.

Клаус побегал еще, согреваясь, а главное, давая успокоиться мыслям. Пусть вернется привычная сцепка причины и следствия. Предстоящий отъезд

Норы вносил какую-то ясность в их отношения. Но и печаль тоже. Как будто их встреча могла иметь продолжение, пойти дальше дразнилки и тайного флирта под взглядом сестры, все более внимательным.

У бронзовой купальщицы Клаус помедлил. Журчание фонтана изливало мир, им он хотел насытить сердце. Ибо заявление Норы о предстоящем отъезде встревожило его и, казалось, весь уголок. Клаус медленно осознавал, что при всей своей хрупкости это сооружение — сосуществование троих, его и Доротеи при постоянном риске вторжения Норы — было прочным. Правда, подвижным, воздушным, колеблющимся наподобие паутины. Неразрушимым, однако: треугольник крепче двух параллельных.

Сестры завтракали в салоне. Стояла также приготовленная его чашка, салфетка, выжатый сок грейпфрута розовел в бокале.

— Нора сегодня уезжает, — сказала Доротея совсем спокойным тоном.

— Вот как, — ответил Клаус, с трудом изобразив интонацию удивления. И, повернувшись к Норе, сказал:

— Тебе что-нибудь не по душе? Все уже совершилось? Не осталось ли чего-нибудь, о чем ты... однажды пожалеешь?

В его голосе слышалась грусть. Доротея посмотрела изумленно, хлопая ресницами, как от предчувствия неминуемо наносимой обиды. Она умела владеть своими — да и чужими — чувствами.

— Я лечу в Рио, — сказала Нора серьезно. — Там люди другие. У них все на виду.

— Надежда на перемены — последняя, которая не умирает. Не может умереть, потому что перемену смерти никто не отнимет, — пофилософствовал Клаус.

— Ну, это софистика, — заметила Доротея.

Она перелистывала альбом.

— Почему люди бывают похожи друг на друга? — спросила она, ни к кому особенно не обращаясь. — Словно растения из одинаковых семечек. А где семечки были из одного мешочка — выросли разные люди.

— Мы с тобой, например, — сказала Нора.

— А этот Адам на немецкой картине, смотрите, вылитый Клаус!

Невольно он вытянул шею, словно гусь, заглядывая в страницу, но потом встал, приблизился и убедился: да, что-то есть. Действительно, странно.

— Меня и вправду интересует Адам.

— Кто сказал Адам, тот скажет и Ева!

— Правильнее, думаю говорить во множественном числе: Адамы и Евы.

— Я, как и всякий Адам, — сказал Клаус, — Евою соблазняем и в то же время рождаем: вместе с ребенком рождается отец.

Нора скисала по мере усложнения темы, она уже опасалась цитат и вязкой учености, поскольку Клаус вынул записную книжку, а Доротея приготовилась спорить.

— Так вот, мадам, что вам скажет Адам! — заговорил Клаус, справляясь с написанным.

— Бывает, что юноша находит сначала жену «мать», заботливую, любящую... Рядом с ней он зреет в мужчину «Адама». А этому уже нужна «Ева»,

соблазнительница, яркая, инициативная, независимая, у которой свои отношения со змеем... она и находит Адама и увлекает его из материнского рая...

Доротeya взглянула на Нору, и та потупилась.

— Следует развод с «матерью», — продолжал Клаус.
— Однако вкусив обновленной страсти, мужчина грустит об удобстве первоначального брака... и начинает превращать «Еву» в «мать», но еще она не хочет — или не может — измениться. Происходит разрыв. Адам возвращается к матери-жене... или падает в объятия «Евы» новой. Теперь он осторожнее и позволяет себе лишь капризы «сыночка», в общем, Евой — если умна — принимаемые. Борьба кончилась, парадиз закрыт на ремонт.

Доротeya зябко повела плечами.

— Вот поэтому я в Рио и еду, — сказала Нора. — Вы зануды! Вы любите скуку!

— Мы проводим тебя до Цюриха, — задумчиво произнесла Доротeya.

— На большее вы не способны! — Но тут же сестра присмирела: — И на этом спасибо.

Пораженный Клаус молчал. Давно им так не распоряжались, даже не спрашивая ради формальности. И однако он молча обрадовался мотыльковому — день-два — продолжению их союза. Словно дочь, оперившись, покидала гнездо, и родители боялись мгновенно осиротеть. Лучше уж пережить потерю в другом месте и вернуться, рассеивая по дороге печаль.

А пока Клаус и сестры грустили, поднимаясь с чемоданом и сумкой по тропинке наверх, к дороге, и обернулись там посмотреть на озеро. Его синева

продолжала небесную, голубую, напоминая о родственности стихий воздуха и воды.

Пустой автомобиль стоял возле автобусной остановки. Голос певицы плыл из открытого окна и расходился над парком. Это была одна из мелодий самых полных, сочиненных — найденных? — в Европе в последние полтысячи лет. *Erbarne Dich* Баха.

— Ты знаешь, я подумала... — прошептала Доротея. — Слушая эту музыку... нет, больше, чем музыку: эту мелодию... это сопрано...

Она остановилась, стараясь понять движения плеч Клауса, — такие бывают у человека, борющегося с... неожиданным приступом плача, например.

— В наш век чувства людей стали товаром... все покупается и продается... Только страдание останется чистым... Ты понимаешь? Его никто не хочет... Когда люди начнут умирать от бесчувствия жизни... Одиночки спасутся в страдании... И человечество выживет.

Клаус молчал. И Нора.

«Араратом ковчега будет Голгофа», — подумал он. Ему сделалось сладко от этой причастности. От родства, которому нельзя умереть.

Когда закончилась музыка, другая не спешила начаться, словно служащие радио тоже прониклись особенностью ее.

И только потом показался пыхтящий на подъеме автобус, повезший их на вокзал к старомодному местному поезду.

Клаусу приглянулся диван в углу обширного салона библиотеки, отделенный этажерками с книгами: они выгораживали уютный прямоугольник. Спящий или просто читающий там человек не виден другим, если б они пришли.

На стенах висели портреты, выписанные с тщательностью девятнадцатого века, и только потом мелькнул заливчатый двадцатый, небрежные тридцатые годы. Были и современные картины, невнятные, но чем-то приятные: городской пейзаж, пустынный, и только два нищих негра стояли в перспективе, протягивая руку к отсутствующим прохожим. Женский портрет в профиль, несомненно, Доротеи, и лежащая обнаженная, возможно, она же, ее соседство с портретом на эту мысль наводило. Художник любил ее тело: расплывчатость изображения уменьшалась по мере приближения к Евиной роще. Тут художник достигал выписанности и прозрачности Ренессанса.

— Доротея, ау, — говорил Клаус, проходя соседнюю с библиотекой комнату, и потом еще одну. Оказавшись затем в коридоре, не знал, как быть и куда направиться, — вверх по лестнице на этаж с балюстрадой, или вниз, в большой светлый зал, служивший, видимо, столовой.

— Ау, Доротея! — позвал он громче.

— Я здесь, — послышался голос. Тут Клаус заметил светлую щель неплотно закрытой двери, и открыл ее. Апартамент Доротеи выходил на открытую часть двора перед их двухэтажным — считая по-французски —

домом, на крыши, спускавшиеся по склону к нижнему городу, где вдали стояло иссиня-черное озеро.

Женщина сидела на стуле перед широкой кроватью. Вещи были вывалены из чемодана и лежали горой.

— Ты всё привезла? — удивился немного Клаус, привычно встревожившись: в коттедже на берегу не осталось, стало быть, вещей Доротеи, всегда немного заложников возвращения человека.

— Захотела обновить гардероб, — сказала она чуть извиняющимся тоном.

— Конечно, конечно, — успокоил ее Клаус.

— А зубную щетку забыла!

— Ну, ничего, ничего.

— И еще, представь себе, ночную рубашку с красной каемкой, которую ты успел полюбить.

Клаус слегка огорчился и даже подумал, что любимая рубашка и любимая разделились, и нет ли тут знака какого-нибудь, просочившегося сюда из будущего. Озадаченный размышляющий Клаус отразился в трюмо, — тяжелом, старомодном, занявшем почти всю стену.

— Ты в твоём доме другая, — сказал он. — Ты стала очень внимательная, цепкая. Тебя трудно обнять.

Он, тем не менее, попробовал и удивился деловитости, с какой Доротея ответила на его поцелуй и уклонилась от более притязательной ласки. Словно ей мешала значительность роли хозяйки.

Облака окрасились в красные и серо-малиновые тона заходящего солнца. Загорались уличные фонари, их зеленоватые цепочки отметили улицы, вытягиваясь поясами и поднимаясь вверх. Дома все более теряли

очертания. Клаус любил меланхолию заката, особенно если ночлег обеспечен и можно отдаться сладкому чувству завершения дня.

— Ты знаешь, я где-то видел именно этот пейзаж, — удивленно сказал он. — И это не *дежавю*... Вон там, в темноте должна скрываться часть церкви, правда?

— Церковь действительно есть, — согласилась Доротея, — и пейзаж ты видел, я знаю где: в Мюнхене, в Пинакотеке! Автор его Розенбах, наш дальний родственник в девятнадцатом веке. Он жил в нашем доме. И всегда рисовал закат солнца из этого окна. Мольберт всегда стоял тут, вот, смотри, след.

И действительно, полтора века натирания паркета не стерли вытоптаный на полу полукруг.

— В этом пейзаже какая-то магия, — сказал Клаус, встав на место художника.

— Может быть, на меня снизойдет теперь талант рисования? — пошутил.

Доротея отгородилась ширмой и переодевалась, судя по шуршанию тканей и взвизгиванию молний. Когда она вышла, взгляд Клауса впился в новый невиданный прежде образ ее: длинное серое платье до щиколоток, сиреневая блузка с редкими блестками и розовой подкладкой воротничка и манжет. Она смотрела на Клауса испытующе.

— Какой у тебя изучающий... взор! — сказал Клаус. — Его не было прежде.

— Прежде не было и у тебя...

— Чего же?

— Не скажу. Сам ты, думаю, знаешь.

Звякнул прикрепленный над дверью колокольчик.

— Нора зовет ужинать.

Клаус пошел следом, оглядываясь на высокие окна и на еще живший в углах отблеск заката, затягиваемый со скоростью счета секунд темнотой наступавшей. Ему хотелось прочесть несколько строк какой-нибудь книги. Несколько их стопкой лежало у изголовья кровати, но Доротея ждала его в дверях, и он пошел к ней, довольствуясь собственной фразой, поселившейся в памяти накануне: «Сколько же там прекрасных подробностей».

Нора была в шортах и телесного цвета чулках, в передничке, в тишортке на голое тело. Вызывающе торчали соски. Ноги обуты в низкие бархатные сапожки. Доротея ничего не сказала, и Клаус тем более промолчал.

— Рыба судак, запеченная в картофеле, — объявила Нора. — Подходит? Если же нет, то выбора тоже нет. Впрочем, можно спуститься в город, в ресторан.

— Запеканка прекрасная вещь, — сказал Клаус. — Рыба кстати в этот день недели.

— Как, опять пятница? — с досадою произнесла Доротея. — Еще неделя прошла. И еще.

В просторной столовой они устроились вблизи кухни, отделенной деревянной стойкой и стенкой, раздвигавшейся, если нужно, в сплошную. Их стол был небольшим, а посередине залы стоял другой, массивный и длинный, дубовый. За ним легко поместилась бы дюжина трапезующих, не теснясь. Но такого здесь давно не случалось, судя по буфетам с посудой, заставленным так, что дверцы было бы не открыть. Стены, однако, сияли, сиял чистотой потолок.

— Этот дом давно перестал подчиняться людям, — хмуро сказала Нора. — Они не живут в нем, это он их терпит. Когда же мы избавимся от него! Над новыми хозяевами у него власти не будет.

— Это интересно, — сказал Клаус. — У меня нет опыта владения жилищем.

— Нора права: неизвестно, кто кем владеет! Деньги все-таки менее деспотичны.

Клаус раскрыл рот, чтобы сообщить об ограниченности у него и этого опыта, но передумал, опасаясь, что возникнет неуютное сопоставление его и хозяек. Привычное людям ушедшего века, ему казалось оно чересчур простецким.

После первого бокала превосходного мозельского и великолепной запеканки настроение заметно улучшилось. Высокие окна столовой совсем потемнели, и в верхней их части стали заметны звезды, — свет уличных фонарей сюда не достигал. Светилось лишь одно далекое окно, совсем маленькое, наверху застроенного городского холма. Оно могло показаться луной на ущербе.

— Не затопить ли камин, — поинтересовалась Доротея, когда они, утолив голод, вразнобой ели кто сыр, кто фрукт, а кто продолжал попивать вино в ожидании чашечки кофе, — им был Клаус, конечно же. Он и вызвался разжечь камин, и делал это с удовольствием, весело, и пламя, словно заразившись его весельем, треща побежало по сухим еловым веточкам, облизывая жадно поленья. Клаус подумал о различии огня, зажигаемого для уюта и по необходимости.

Справа и слева от камина висели портреты женщины и мужчины. Поджатые губы создавали выражение недовольства.

— Это маман, — сказала Доротея в ответ на вопросительный взгляд Клауса. — А напротив ее муж.

— И ваш отец? — удивился Клаус необходимости уточнять.

— Ну да, — неохотно и недовольно произнесла Доротея. — Он уехал в Америку.

Доротея сидела в кресле близко к огню, держа белую фарфоровую чашечку, Клаус попивал что-то крепкое, возможно, ликер. Нора, двигаясь, грызла яблоко.

— Так это ты Ева, — пошутила Доротея. — А яблоко ешь первая...

— Кстати, какие новости из Парадиза, Клаус? — подхватила сестра, садясь на твердый матерчатый валик его кресла, как бы увеличивая его своим бедром, — теплым, живым и блестящим. Мускул, твердея, напрягся под фиолетовой тканью чулка.

И Клаус почувствовал напряжение, возникшее между сестрами и протекавшее через него наподобие тока.

— В поезде я сделал запись о любви, — сказал он. — Мы ведь видели сложившуюся пару Меклера и Эльзы, и пару возникающую, Штеттера и Семенову. Ну, и мы сами...

Куда отнести их самих, Клаус не знал. Он закрылся открытой записной книжкой.

— Любить ее, его... значит любить и ее, его «продолжения в мире»: его дружбы, занятия... Вы согласны?

Сестры переглянулись.

— Поначалу занятиям и дружбам в ее любви к нему место было, они даже способствовали увеличению ее интереса к его особе. Затем им становится тесновато. Отныне для них приходится выбирать удобное время... и вскоре *выкраивать* его. Наконец, приходится *выбирать* то или это... вплоть до решительного *она* или *она*...

— Пора, действительно, внести ясность! — твердо сказала Доротея.

— ...то есть жена... или литература...

— Клаус, ты шутишь! — облегченно засмеялась она.

Нора не шевелилась.

Клаус закашлялся.

— Дайте закончить мысль! «Происходит взрыв: первое выяснение отношений. И наступает охлаждение свободы. Или он выбирает — ради сохранения мира — зависимость принадлежности... что тоже не гарантирует счастливого... рабства... Раб завоевательнице скучен».

— Дай мне листочек, я буду читать! Ты что-то не договариваешь!

И протянув руку, вынула бумагу из рук Клауса. Молчала, разбирая почерк. И громко затем начала нарочито профессорским тоном:

— «Объяснять или нет свое отсутствие — за ужином, например? Если не объяснять, то интимность не полная: ты не пускаешь подругу в свой календарь, не делишься с ней сокровенным, уменьшаешь количество точек соприкосновения. Если же объяснять, то обнажается место для помещения рычага (архимедова?), и

тогда легко повернуть, оторвать от намеченного — и тем более от желания еще не сложившегося.

Риски такие: или не дать пищу любви, питающуюся интимным всякого рода.

Или показать место, где любовь искушаема превращением в собственника чужой привязанности, что есть самоубийство любви».

— Выхода нет, — заявила Нора, сидя на деревянной стенке, отделявшей запас дров от собственно зала, и болтая длинной ногой. — Но мне пора собираться. Завтра я еду во Франкфурт, и оттуда лечу.

Огонь угасал: высохшее за долгие годы хранения дерево сторело быстро, хотя, конечно, медленнее, нежели порох.

Они продолжали сидеть. Пламя шевелило тени на потолке, поблескивало в высоких окнах, за которым стояло темно-синее небо и черные плоскости домов.

— Иногда продолжения жизни не хочется, — сказала Доротея. — Почему-то знаешь, что идут перемены — а тебе хорошо. В последний раз, возможно.

— И тогда всё останавливается, — заметил Клаус. — Но почему нельзя отменить составленный на будущее план? Тогда и судьба согласилась бы с нами.

В тишине потрескивал и шевелился огонь в камине. Молчаливый участник их беседы — двухсотлетний дом — слушал их, и если бы он мог выразить свое отношение, он покачал бы головой. И никто не знал бы, с чем соглашаясь.

— Ну что ж, до свидания, — сказала Нора, поднимаясь, потягиваясь по-кошачьи и к сестре

подходя проститься. Она ее обняла сзади за плечи, потерлась головою о голову. Доротея осталась спокойной.

— Я завтра еду рано-рано, и вас наверное не увижу. Клаус, прощай.

Она подала ему руку и сжала его крепко, со значением, дважды.

— Если приедете в Рио — буду рада и счастлива. Вы бы там отдохнули: там люди другие, всё на виду, никакой психологии для догадливых. Ну, прощайте.

«Глупо, что мы расстаемся», — сказал себе Клаус, пожимая плечами. Он подошел к Доротее, повторяя жест Норы, обнял ее за плечи.

26

— А я уже надеялся, что Нора будет нам вместо... дочери, — сказал он с усмешкой, признавая нелепость подобной мечты, но и вынося на обсуждение частицу истины, в ней содержащуюся.

— Ты готовил ее себе в жену, — сказала Доротея. — И правда, она старше, но рядом со мною — подросток. Ах, она забыла свою ажандá. Отнеси ей, пожалуйста.

Предложение странное, подумал Клаус. Однако приятное. Похоже, он пешка — или фишка? — в игре. Но какой...

Следуя пояснению Доры, он поднялся на этаж и вышел на балюстраду библиотеки, полной мрака, которому противилась маленькая настольная лампочка у его закутка, где ему устроили постель, отсчитал третью дверь и вошел в нее, и оказался в коридоре, здесь кончавшемся тупиком. Нажимая на светящиеся

кнопки, от чего загорались там или тут лампочки, он иногда протискивался между стеллажами с коробками, мебелью и, похоже было, картинами. В противоположном конце зиял, словно намалеванный, черный квадрат, но в нем нашлась лесенка. Он поднялся под самую крышу.

Могучие стропила держали ее. Пространство заставлено было тяжелой — дубовой, конечно — мебелью под чехлами, напоминая склад или магазин. Полоска света вдали на уровне пола согрела сердце. Он рванулся вперед и пребольно стукнулся локтем о выступивший из ранжира шкаф. И у двери он тоже споткнулся, и произвел грохот.

— Войди, — слышалось.

Ему открылся очень просторный *лофт* с наклонными окнами. В торце его, в огромном безупречно прозрачном окне мерцали городские огни. Нора сидела за столом над бумагами, одетая в кимоно, а стол окружали этажерки с книгами. Поодаль — постель с балдахинном из светло-зеленой ткани; его узел висел в треугольнике, образованном скатами крыши. Постель раскрыта была.

Большую часть этой огромной мансарды занимали спортивные снаряды, в основном гимнастические: бревно, конь, брусья, стенка. И даже боксерская груша.

— Ты очень любезен, — сказала Нора серьезно, взяв из рук Клауса книжечку делового календаря. — Доротея мила.

В зеленоватых глазах женщины стояло ожидание. И, возможно, печаль. Она повернулась к нему на вертящемся стуле: закинув ногу на ногу, бедра

поблескивали черными чулками. Шорты выглядели последним препятствием, ничтожной отсрочкой. Противясь желанию, Клаус с деланным интересом оглядывался вокруг, пошел посмотреть из окна на город; там вдали угадывалось озеро и очертания гор горизонта. Проходя, он ударил кулаком в боксерскую грушу — и охнул. Причив себе боль, он вспомнил, что не делал этого тридцать лет.

— У тебя симпатично, — сказал.

— И смешная постель, — добавил, стоя рядом и пробуя коленом матрас. — Альков для королевы!

Нора стремительно к нему подскочила, воскликнув:

— Und für den König!*

Она толкнула его, рассмеявшись. Падая, он схватился за Нору, и она упала вместе с ним, на него. Он ее обнял, прижался, отдавшись лавине, словно лыжник, сметенный снегом, для которого всякое сопротивление — смерть. Женщина, впрочем, дрожала тоже, она целовала его в рот и шею и двигала спиной и задом под его ладонями, требуя ласки. Мешала одежда. Рука Клауса лежала на гладкой горячей спине.

Вдруг послышался скрип. Несомненно, открываемой двери. Детский ужас им овладел, он голову повернул и смотрел, не открывается ли она. И в самом деле, ручка двери медленно поворачивалась.

— Это Доротея, — просипел он, чувствуя, что потеет, и пот был холодным.

— Ну и что? — заражаясь его беспокойством, зашептала Нора. — Она ведь тебя прислала! Она мне тебя отдала!

* И для короля!

Страх перед разоблачением — древний, панический — мешал им разоблачиться. Нора еще ласкала его лицо, но уже неуверенно, остывая, тормоза воспитания скрипели, заведясь от дверного скрипа и от боязни мужчины.

— Мне тревожно, — сказал он. — Я желаю тебя. Пожалуйста, не уезжай. Завтра мы объяснимся с Дорою и уедем ко мне. Сначала на озеро, а потом в Париж.

Нора молчала. Она рядом лежала, подперев голову рукою, смотря неопределенно куда-то, машинально глядя Клаусу грудь, пробравшись к нему под рубашку, словно запоминая что-то напоследок, собирая, может статься, тепло его тела. На время зимы одиночества. Клаус выскользнул из объятий.

27

Досадуя на свою боязливость, на коварство Доротей, на непоследовательность Норы, и снова — на свою раздвоенность, он пробирался через дом в поисках жилища младшей сестры, и понял, что заблудился, когда нужная дверь в коридор — впрочем, она ли? — оказалась запертой. Вокруг стояли сундуки и баулы, мебель под пленкой от пыли, покрытой слоем ее. Кстати, толстый слой пыли или серый? Скульптура или живопись? А?

Кнопки освещения более не попадались, он радовался, что фонарик по счастливой случайности нашелся в кармане куртки, но и с ним он уже больно ушибся об огромный шкаф. Он пошел в обход и обратно, перелезая через брусья стропил, удивляясь, откуда они

взялись. Положение усложняется, сказал он себе. Здесь пыльно и холодно. Обстановка чужбины. Не удивительно было б наткнуться тут на скелет незадачливого посетителя, — вора, заблудившегося в семидесятих годах, например.

Увидев зеленый огонек кнопки освещения, он почувствовал, что спасен. Тусклая лампочка вспыхнула в преисподней солнцем, и сразу же нашлась лестница вниз, — а путь к ней заслоняла чудовищная кровать с медными шарами на стойках спинок. Этажом ниже приветливо светилась далекая полоска на уровне пола, несомненно, под дверью. К ней уверенно пошел Клаус и постучал. Голос Доротей сказал тотчас:

— Войди.

Апартамент сестры поражал чистотой и строгостью линий. Высокие полотняные занавески на окнах. Здесь не было ничего лишнего, даже кровать, вероятно, помещалась в смежной комнате, куда вела дверь и откуда падал овал желтого света. Впрочем, вблизи окна располагался стол-секретер, и рядом другой, круглый, предназначенный для еды.

— Как ты долго, — сказала Доротей, не отвечая на объятие Клауса.

— Я заблудился, — просто ответил он, — для новичка этот дом — лабиринт.

— Для обитателей тоже, — усмехнулась.

Клаус, усевшись на круглый пуф, почти ее рассматривал, настолько она отличалась от Доротей их первого знакомства и общения.

— Ты чему-то удивляешься, — сказала она. — Неудивительно: ты женщин не знаешь.

«Знать женщин», — подумал Клаус. Возможно ли? Если *знать* их, изучив, то оказываешься вне отношений, ты спокоен и холоден, и некоторая часть «знания» — вероятно, важнейшая — улетучивается. Оставаясь внутри их, в этой странной — жестокой и желанной — паутине, ты заинтересованный ее участник, и тогда прощай объективность.

«Знать женщин — невозможно», — сделал он неутешительный вывод.

Так же говорят «вы не знаете жизни», имея в виду злые ловушки и способы увертывания от них. Но жизнь ведь не только неприятности. И не только отдача — крови, семени, денег...

Клаус спохватился, заметив, что мысленно пишет, забыв о присутствии Доротеи. Та смотрела на него с удивлением, словно не узнавая, или узнавая в нем кого-то еще или даже другого.

— Мгновение истины, — усмехнулся он. — Возник какой-то философский комок между нами... Простота поэзии затмилась. Доротея, что с нами? Вспомни, как мы встретились.

Доротея помнила. Они увидели друг друга впервые в зеркальном стекле галереи, остановившись оба, привлеченные картиною в ней, изображавшую купальщицу, стоявшую наполовину в воде у каменного парашета. В руке она держала листок бумаги, вероятно, письмо. Чувственно прекрасная женщина, смотревшая им прямо в глаза, их смелостью и заразила: они, повернувшись друг к другу, так посмотрели. Клауса тронула внимательность взгляда, ум его и искорка веселья.

«Мы увидели друг друга в зеркальном пространстве, — пошутил он тогда. — Наши отражения уже познакомились. Так скажите, как вас зовут и кто вы?»

И сейчас повторил:

— Мы увидели друг друга в виртуальном пространстве... Как тебя называть?

Доротея нехотя включилась в игру.

— *Разумеется, Доротея,* — произнесла она тоном того дня встречи.

Он обнял ее за плечи, стоя сзади, его руки скользнули к животу, к поясу юбки. Он ожидал знакомой волновавшей его дрожи вождения, каким тело Доротеи отзывалось на его ласку. Однако пупок остался к нему равнодушен, а когда рука едва коснулась Евиной рощи, возлюбленная ее остановила.

— Ах, Клаус, я сегодня ужасно устала... Мне хотелось бы выспаться. У тебя там все устроено? Полотенце я не забыла?

Нарочитая прозаичность вопроса больно ударила.

Ей и в самом деле хотелось остаться одной и подумать о них обоих. Или сразу обо всех троих. Обо всех четверых! — возможных... *о четвертом* — драгоценном живом комочке, который в ней возникнуть не может, какое несчастье. Пусть тогда он зачнет в самой близкой к ней плоти сестры! Но так, чтобы Клаус не обнимал, не целовал ее, не раздвигал загорелых стройных ног, не...

Клаус же чувствовал, что его место рядом с Доротеей уменьшилось. Его еще, впрочем, не отнимали: для столь радикального жеста нужен живой претендент, он уже объявлялся в виде знаменитости Меклера, но не

подошел. Клаус мог бы предположить, почему, но ему не хотелось.

Он поцеловал Доротею, нагнувшись к ней, опираясь на ее колени — и тем делая последнюю попытку к близости, и выпрямился, не ощутив согласия.

И вышел молча.

Он еще собирался побродить по библиотеке, любопытствуя полистать какой-нибудь забытый людьми и историей том, но вдруг почувствовал изнеможение длинного дня и упал на постель. Вынудив себя раздеться последним усилием воли, он дотянулся до лампы, выключил и растворился в океане сна.

28

Далекий телефонный звонок, скорее угадываемый сквозь сон, чем услышанный, его извлекал из блаженного забытья. «Как же хорошо умереть», — появилась чья-то мысль в его сознании, и лишь потом он признал ее своею. Послышались вскоре звуки подъехавшего автомобиля, и его окатило, точно холодной водой, печалью утраты. Он вскочил и к окну подбежал.

Сестры прощались во дворе дома.

Нора стояла с большим черным чемоданом на колесиках, и Доротея в ночной сорочке и кофте, брошенной на плечи. Он слышал их разговор, но слов не мог разобрать. Наконец, они обнялись, и Нора пошла к стоявшему на улице такси. Обернувшись, она помахала рукою — несомненно, сестре, а потом, подняв голову, и ему, и даже послала ему поцелуй, — скорее товарищеский, чем любовный. Вслед за ней подняла голову и

Доротей и, увидев его в окне, помахала ему рукой, улыбнувшись.

— Береги Клауса, — сказала Нора. — Он мне понравился. Он боится тебя обидеть.

— Жаль, что ты уезжаешь... Время идет, и ничего не происходит.

— Сестрица, жизнь полна неожиданностей... В Бразилии делают не только кофе... И бобы бывают не только кофейными!

— А как же я? — встревожилась Доротей и почти испугалась. — Я буду тогда не при чем?

Таксист просительно бибикнул, намекая, что ждет. Сестры снова обнялись, и Нора быстро пошла к воротам, а сестра еще постояла на месте, опустив голову.

Клаус чувствовал нежную родственность всех троих, возвращаясь к постели. Но заснуть он не смог бы. И для чтения был слишком мечтателен. Взглянул только на стекла шкафов, на тепло излучавшие тусклым золотом корешки, вздохнул.

Он оделся и вышел в еле-еле просыпавшийся город. Тишина жилого квартала уши закладывала ватой, крики птиц водоплавающих сюда доносились. Звонко залаяла, впрочем, собачка на поводке небрежно утреннему одетой дамы, испугавшись чего-то или просто выразив беспокойство хозяйки. Одинокий с газетой господин поднял на мгновение голову и опять погрузился в экономические — кремового цвета — страницы.

«Этот город я посещал на важнейших поворотах моей жизни», — подумал Клаус. Вот ведь загадка!

Словно нужная книга падает с полки. На какой же странице читать?

Он вышел к озеру. Приплывший откуда-то пароходик выгрузил дюжину одинаково — или почти — одетых мужчин, должно быть, клерков. Людей счета, конечно. Была открыта и церковь. Во влажном полумраке огоньки свечей трепетали, зябкий гулял сквознячок. Холодно в доме молчащего Бога. То, что Он существует, Клаус знал.

Дверь скрипя отворилась в стене, и оттуда вышли два человека: священник в длиннополом стилизованном под тунику платье и с тускло мерцавшим кубком в руке, и маленький беззвучный мужчина с остальными принадлежностями мессы. Не поднимая глаз, они последовали во тьму боковой галереи, приводившей к приделу абсиды и алтарю.

Первый утренний прихожанин гулко закашлялся в нефе. Клаус прошел мимо сморкавшегося в огромный платок — подстать носу — старика. Дверь его нехотя выпустила под ослепительно голубое небо, ему пришлось остановиться, зажмуриться. Усевшись на плетеное кресло и оправдавшись заказом чашечки кофе, он отдался утреннему наслаждению — размышлению о Доротее и Норе, об их отношениях. Он и записи делал. Например, эту.

«При нашей *человеческой* бедности у нас нет ничего, кроме времени... дать ему проходить, не дать унести себя им, держась за... читаемую книгу... проспав, не услышав будильника... и занесенный кулак судьбы промахнется. При нашей *беззащитности* у нас нет ничего, кроме времени, которое, залечивая, пройдет.

Или вылечит, проходя.

За ударом следует успокоение бьющих и смущение убивших. В последнем случае передышка достается стоявшим поблизости».

Или вот еще, еще определеннее:

«И вдруг после болезненности и израненности — приходит благодущие, «равенство души», — несравненное благо, подарок Божий, — неизвестно почему, — но как принятие всего — и болезни, и смерти, и поддаваясь (отдаваясь) ей в слезах — благодарности.

Надеясь, что продлится это предание себя на Волю Всевышнего... И при этом не зная, как образуется клубящийся беспорядок последних месяцев, как устроится этот материальный развал — безденежья и всего на свете неустройства».

Утро сияло голубым небом, голуби прохаживались важно, как это они делают только в Гельвеции, уверенные в незыблемости правил уличного движения и законности своего — как и всякого — права на жизнь.

Клаус наслаждался компактностью существования, — оно сошло в его мозгу наподобие острия. И мысль была свежа и объемна, и не нужно было ее показывать публике со всех сторон, словно продаваемую ей снесь.

Но ведь и эта земля знала страхи насилия разных воль, не желавших слиться в некую среднюю согласия. И что же их согласило... Иные думают — слова их святого отшельника Брудера Клауса: «оставайтесь маленькой страной». Не берите желающих к вам примкнуть. Ибо возбудится в один прекрасный день аппетит соседних народов, и они захотят вас, соблазнительных размером, проглотить.

Людоедская эра еще далеко не закончилась. Многие гордятся своею величиной. И падают неожиданно в яму мании величия. Русским мила необъятность их несчастной родины. Радуясь просторам Сибири, они ни разу в ней не были. Но жить они предпочитают в малых странах Европы.

Клауса уносило в видения мира, его славянские корни жадно пили влажный воздух фантазий, становились тугими, превращались в... стропы разноцветного Монгольфьера! Потомков изобретателя воздушного шара Клаус однажды встретил и удивился их земной основательности. Вероятно, ее тяжесть когда-то взорвалась изобретением, противоположным по духу.

Он сошел к озеру, мимо витрин открывшихся лавок. Одна его привлекла: десятки стройных ног, поднятые в воздух, одетые в чулки всех расцветок. «Пусть расцветают сто цветов», сказал китайский Лодочник. Как это он успел превратиться так ловко в Лавочника.

Витрина приглашала его сделать подарок Доротее. Он колебался относительно цвета. Фиолетовые намекали бы слишком на Нору. Благородные черные отнимали бы у ноги Доротеей нужный объем. Розовые делали бы из нее фламинго. Зеленые, стального цвета, синие... нет. Белые кружевные аляповаты. Вот, впрочем, изящные, с намеком на сетку. В ней бедро покажется пойманной рыбой.

Звонок прозвучал, едва он пересек порог. Из глубины магазина вышла миловидная женщина со следами недавнего сна на лице и поздоровалась, улыбкой раздвинув черные брови.

— Вы что-нибудь выбрали? Вам нужно помочь?

— Вот эти, — показал Клаус на стройную ногу в белом сетчатом чулке, вызывавшем какое-то напряжение и скорее тревогу. Такова современная женщина: она умеет поймать взгляд даже не нужного ей мужчины, посеять сладостное беспокойство.

Дверь опять прозвонила, и вошла покупательница. Вероятно, клиентка, судя по улыбке гораздо более прочной, появившейся на лице — продавщицы? Нет, судя по уверенности жестов, владелицы лавки. Она и рассыпалась в комплиментах погоде, в надеждах на хорошее лето. Клиентка снисходительно улыбалась, Клаус невольно взглянул на ее ноги в черных чулках, заметил костистые колени, и она слегка кивнула в его сторону головой, делая знак продавщице... нет, скорее всего, хозяйке: мол, не лучше ли прежде отпустить господина?

Та ушла вглубь магазина и вскоре вернулась с красиво сделанным пакетом.

— Желаю вам приятного дня, — почти улыбнулась она, когда Клаус расплатился и протягивал за покупкою руку.

Он вышел вон и захвачен был сразу упругим движением воздуха с озера, синевой неба, блиставшей до боли в глазах. И однако он не чувствовал начала чего-то, как бывало с ним в юности, — теперь его жизнь продолжалась по ровному месту. Он возвращался в дом Доротеи и Норы, и вдруг увидел его, стоявший на подъеме отдельно от прочих строений улицы. Одно окно было открыто, а другие поблескивали, словно стекла очков. «Очков слепых», — сказал себе Клаус.

Он заторопился вернуться.

Доротея увидела красивый пакет и догадалась, что это подарок ей. Возможно, и объяснение.

— Дора... — сказал Клаус, назвав ее уменьшительно ласково, — я проходил — увидел — и мне захотелось...

Знак внимания показался ему вдруг ничтожным, не достающим до величия хозяйки этого странного дома. Он схватился, словно утопающий, за воспоминание о польском римском Папе, имевшем пристрастие к женской обуви.

Отступить было поздно, он пакет протянул. Доротея взяла его медленным жестом, как бы взвешивая, и осмотрела со всех сторон.

— Ты ведь не завтракал, — сказала она. — Чай, между прочим, готов. И яйцо я сварила всмятку.

В далеком кухонном уголке стол показался крошечным.

Доротея разворачивала пакет.

Вместо белой ткани высунулась темная. Женщина руку продела в чулок, и в глазах Клауса позеленело: он был фиолетовым. Продавщица ошиблась. Или, может быть, он со своей дурацкой затеей.

— Спасибо, Клаус, — голос Доротеи прозвучал отчужденно, и гримаса улыбки застыла.

— Совсем не тот цвет, что я выбрал! — в отчаянии вскричал Клаус, готовый вырвать покупку из рук Доротеи. — Этот нужно вернуть!

— Да, разумеется, — сказала женщина безучастно, отдавая ему пакет. — А впрочем, можешь оставить для Норы. Она любит этот цвет. И этот оттенок. Пожалуй-ста, завтракай. Я пойду одеваться.

— Уверю тебя, Доротея, я не хотел...

— Разумеется, — ответила та. И взглянув на него, смягчилась. — Не тревожься так. Это случайность.

У него посасывало под ложечкой, как бывало, когда он предчувствовал удар судьбы или угрозу перемены в существовании. Безмятежность жизни на озере показала ему райской. И тамошние дружбы. События искусств. А в этом доме было нечто от холла вокзала, не хватало лишь рельс и локомотива. Вокзал, из которого невозможно уехать! Это уж чересчур.

Спасаясь от грусти, он пошел разыскивать Доротею, и на этот раз справился быстрее. На стук в дверь никто не ответил, и он вошел сам.

Женщина лежала на постели, раскинув руки, уткнувшись лицом в подушку. В позе иссякнутых рыданий. Клаус присел на корточки и осторожно погладил голову, и эта ласка вызвала новый приступ плача. Она подняла к нему лицо, и ему представилась обиженная девочка подросток: дрожащие губы, и слезы текли ручейками.

— Я не могу иметь детей, — сказала она.

Клаус взял ее руку и поцеловал. Это известие проливало свет на происходящее и объясняло что-то, чего он сразу не понимал.

— Мне нужно привести себя в порядок, — сказала Доротея. — Подожди меня в салоне, пожалуйста.

29

Клауса разбудило нараставшее чувство печали. Он проснулся у себя в закутке, выгороженном в библиотеке, обложенный книгами, которые он отобрал для прочтения, точнее, для внимательного перелисты-

вания. Он вспомнил, что ждал Доротею, она не приходила, и его раннее вставание на нем отразилось внезапным приступом сонливости: покинув поспешно салон, он добрал до постели и упал. Четверть часа ему было б достаточно, чтобы вновь ощутить свежесть ума и тела. Однако тело подсказывало, что времени прошло значительно больше.

И свет в окне был зрелого дня на подступах сумерек.

Он догадывался, что остался один в этом доме, потому что дом присматривался к нему, чужаку, осторожно, словно собака к новому хозяину, знающая, что от него теперь зависит регулярность миски с едой и одобрительное почесывание за ухом. А дому было о чем беспокоиться, — кусок задравшейся кровли, сырость, поднимавшаяся от земли, трещины в штукатурке.

Еще надеясь, он пробежал коридор. В салоне он увидел белевший прямоугольник бумаги.

«Извини меня, — писала Доротея, не назвав имени, и сердце его сжалось, — я уехала к дальним родственникам. Когда будешь уезжать, оставь ключи на столе и захлопни дверь в дом и во двор».

— А я не уеду, — обидчиво сказал Клаус себе вслух.
— Я буду тебя ждать.

Он вспомнил о телефоне и набрал номер. Ответил робот. Он послал телефонограмму: «дорогая Доротея я тебя жду наши шансы на счастье с нами», и аппарат пропищал в ответ, подтверждая, что его воззвание доставлено. Но уже на второе послание «где тебя искать» промолчал. Доротея отклоняла контакт. Осталось перехватывать Нору, ее убеждать, объясняться.

Ему есть захотелось. Он подумал, что в его тревоге много детской боязни остаться одному. Но ведь столько людей, стоит лишь выйти на улицу! Отчего ему нужны именно эти нити общения, близости, они ведь тоже выросли из ничего... За секунду до того, как он остановился у витрины рядом с Доротеей, они ничего друг о друге не знали! И жилось ему славно.

Каждое расставание отдает смертью, это известно, и поэтому не по себе. «Ветер существования меня выметает из жизни, — поспешно записывал Клаус, — космический холод меня загоняет в нагретый разговорами угол».

Он ел запеканку с рыбой, оставшуюся от ужина накануне, к несчастью, не находя уже вкуса. И вино ему показалось кислым, словно успело свернуться в уксус за одну ночь. Из богача ощущений он сделался испуганным нищим. Расточитель отношений сморщился в попрошайку.

Он поднялся на этаж в поисках излюбленного окна художника далекого безмятежного века (впрочем, поправился он тут же, как легко в тот век умирали младенцы и дети... сколь многие рисковали жизнью, рождая...)

Он открыл окна, и на него повеял свежий воздух вечера, блеск отраженного желто-красного заката. Мерцающие голубоватые пунктиры загоравшихся фонарей протянулись вверх и вниз, и ярусами поднялись по склону. Старинный город ему в радушии не отказывал, несмотря на его неловкости и вины. Клаус сидел на подоконнике, словно на границе между общим и отдельным, не зная, куда перейти.

«Я сущность чего-то», — сказал он себе. Звено мироздания, фишка в игре! Как всякий человек, впрочем. На место иссякшей любви к человеку на кресте пришел интерес к устройству машины вселенной.

Озеро чернело у подножия гор.

Он ходил по комнате Доротеи, заглядывая в уголки, под подушки, на полки за книгами. Ведь если она так внезапно исчезла, значит, ей он не додал, не дал ожидаемого? Но чего именно?

Из книги — он автоматически прочитал заголовок: «*Неистовый Цельсий*» — выглянул уголок сложенного листка бумаги. Смущаясь от дерзости посягания на чужую тайну — и оправдывая себя чрезвычайностью обстоятельств — Клаус вытянул его и расправил. Рука Доротеи была несомненна.

«Великая любовь... настоящая... — ее почерк! Ее! — Высокие эпитеты... нужны ли... способны ли... ее над ней Самой возвысить...

Дотянуться бы... хоть на мгновение еще раз прикоснуться к Ней...

Сама попытка уже похожа на счастье.

А там уж как Богу угодно...

Даже если Он нас внизу оставит, обнявшихся, любоваться

На Пик недостижимой Вершины».

Дом прислушивался недоверчиво к мыслям исчезнувшей хозяйки, которые повторял вслух чужак.

В полночь заскрипели половицы в соседней комнате, словно кто-то там шел, и Клаусу стало не по себе. Борясь со страхом, он пошел ему навстречу, по опыту зная, что воображение его подстегнет. Он открыл дверь, зажег свет, никого не увидел. Сюда давно никто не заходил. Пыль лежала повсюду, и даже телевизор — впрочем, старомодный — оброс серо-голубоватым футляром.

Здесь прежде жила, несомненно, женщина. Постель, туалетный столик, зеркало, умывальник. Высохшие цветы на окнах, в вазе, пучок пшеничных колосьев, разноцветные обручи хула-хупа.

Фотографии на стене: женщина с двумя девочками, потом девушками, — он легко узнал сестер, а женщина, стало быть, мать. Открытый серьезный взгляд протестантки, носительницы правил честности и благо-разумной жизни. Самому так жить тяжело, но жить среди людей, подчинившихся закону — удобно. Вот почему русским хорошо в постаревшей Европе, а у самих на родине — ни черта не выходит.

На пыльном слое Клаус заметил совсем свежие следы человеческих ног и содрогнулся от ужаса наподобие Робинзона, увидевшего на песке отпечаток стопы дикаря. Прикоснуться к чему-либо означало выдать свое посещение. Если бы, конечно, кто-нибудь явился сюда проверять.

Он вернулся в апартамент Доротеи, где горели все обнаруженные светильники, в изнеможении бросился на постель. Едва уловимый запах духов, ее ночная

рубашка напоминали о хозяйке, сделавшейся недоступной.

Страшные силы приложены к нам, сказал себе Клаус, рядом с которыми наши симпатии и желания — ничто. Пока челноки наших жизней идут рядом, нам можно любить и стремиться друг к другу. Но вот их разводит судьба — и нам не удержать их, сцепившись руками — вцепившись друг в друга! Между нами растет пустота.

У изголовья ощущалось нечто твердое под подушечным валиком, матрас там чуть-чуть горбился. Клаус исследовал место и определил твердый угол. Сунув руку, он нащупал предмет. Оказавшийся чемоданчиком.

Замок его сломан. Перевязан матерчатым поясом.

В нем были сложены секреты Доротеи, по-видимому. Клаус не решался открыть. По плечу ли ему узнать и нести эти тайны? Как он будет смотреть в глаза Доротеи? Возможно, впрочем, так часто бывает, что его оставили одного с этой надеждой — чтоб сам он узнал то, о чем рассказать невозможно. Разрубил бы узел непроизносимой тайны, душащей жизнь.

Чемоданчик Пандоры, усмехнулся он.

В ночной тишине разнесся громкий стук упавшего предмета и звон разбившегося стекла. Страх пролился холодной струей в позвоночник, обессиливал, но и требовал действий. Хотелось бежать. Преодолевая малодушие, он двинулся вниз по лестнице, нажимая на светящиеся зеленым выключатели. В салоне не было следов разрушения. В библиотеке под ногами захрус-

тело стекло, он содрогнулся, но ощутил облегчение, увидев сорвавшийся со стены портрет.

Тот упал совершенно естественным образом: гвоздь проржавел и сломался, его шляпка осталась вросшей в веревку. Портрет был мужской: господин стоял на берегу озера в теннисном кепи и безрукавке, скрестив руки на груди и имея в одной трубку. Год был указан и имя художника: 1982, *Constange fecit*. Персонаж чем-то напоминал Доротею — небольшим деликатным ртом — и Нору — миндалевидным разрезом глаз.

Семья собралась вместе — у него в голове, — а они собирались когда-то живые в этом просторном зале, годном для многолюдного бала, но не случайно, — за воскресным обедом, после чинного посещения церкви. Впрочем, он точно не знает.

Разбившийся — на автомобиле? — папá. Маман, оставленная мужем и угасшая от печали. Дочери, нашедшие в нем надежду на что-то. И однако надежду не сумевшие поделить.

Стоит приблизиться к Евиной роще, как жизнь начинает загустевать, словно смола, и ты прилипаешь к ней наподобие муравья, — сказал себе Клаус. — И уже нужно нести свое семечко в достигшее неба строение Человечества... А начиналось обещаньем полета... а кончается...

Подобие стога донеслось из недр дома, из коридора, точнее, со второго этажа или, возможно, с роскошного чердака. Клаус покрылся мурашками, ему опять захотелось выбежать на улицу — неуютную, может быть, но простую в своих опасностях. Опыт предков и его собственный русский заставили пойти навстречу источ-

нику страха: он знал, что бегущего от смерти она догоняет, умножившись.

На случай, если его ждет минотавр в лабиринте, он взял пачку салфеток и розовые комки их оставлял на поворотах лестниц.

Наверху в коридоре лампочка вспыхнула и лопнула, осыпавшись, прошелестели осколки. Далеко впереди светилась полоска под дверью, и мужество Клауса покинуло: кто-то там был и стонал. «Там нет никого, — уговаривал он оцепеневшие ноги, они идти не хотели, — Нора забыла выключить свет».

Слева и справа высилась мебель, между шкапами и буфетами чернели провалы, откуда впору высунуться костлявой руке и его ухватить за плечо. На ум пришел *Отче наш*, и его повторяя, Клаус осмелел и пошел. Перед дверью он еще постоял и затем осторожно открыл.

Действительно, горела настольная лампа, забытая Норою в спешке отъезда. Никого в комнате не было, даже призраков. Клаус зажег все светильники, какие мог обнаружить, и люстру, прильнувшую светло-зелеными стеклянными листьями к потолку. Тени растаяли. Он походил среди спортивных снарядов, воображая себе Нору, — гибкую, ловкую, она может за себя постоять! Если представится такой случай, конечно, в Европе в богатых кварталах он редок, а метро гельветы строить не стали.

В торце великолепного чердака чернело высокое окно, напоминавшее готическое своими тремя створками. Возле постели с балдахином стояла большая круглая коробка, несомненно, *шапоклак* именовавшаяся

когда-то, во времена ношения дамами шляп. Любопытствовав, Клаус снял осторожно крышку и поразился множеству бумажных квадратиков и пакетиков, — возможно, нескольких сотен, если не тысяч, имея в виду порядочную высоту коробки. На них видны были цифры, и взяв одну наудачу, он обнаружил дату. Стыдясь, он вторгся в чужую жизнь, но любопытство его пересиливало, — то самое, что отступило, однако, перед чемоданчиком Доротеи.

Порядка дат в этой куче быть не могло. Мелькнул год 2000, а рядом толкались 82 и 93, и конверт с надписью 7 июля 1994. В нем лежала фотография равнины, утонувшая в тумане, снятая, очевидно, с возвышенности и так, что остаток крепостной стены выступал в правом углу. На обороте он читал круглый ученический почерк: «Мы с папá смотрели на этот пейзаж, и он сказал, что умение художника проявляется в изображении мимолетных состояний природы.

Потом мы смотрели собор и обедали в ресторане гостиницы. Наверху по углам башен собора стояли изваянья быков. Папá сказал, что это нарочно: быки возили камни на гору, чтобы строить, и это на память о них. У входа сидел бродяга с красным рюкзаком, и папа послал меня бросить ему в кепи монетку. Он улыбнулся и поклонился. У него были светлые волосы и борода. Вечером мы звонили домой, и маман сказала, что Доротея почти совсем выздоровела, и мне стало жалко, что мы не приехали сюда все вместе».

На другом крохотном пакетике значилось «Доротея день рождения 1980». Внутри лежал локон золотистых

волос. Клаус погладил им губы, и ему почудился запах духов. Не взять ли на память? В другом фунтике нашлись состриженные полумесяцы ногтей и пометка: «Когти моего совершеннолетия».

Прочсть все казалось немислимым. Соединить фрагменты последовательно потребовало бы работы долгих месяцев... Иные свертки перевязаны были нитками и веревочками.

«Доротея подарила мне на Рождество свой отпечаток большого пальца. Она сказала, что он мне поможет при сдаче экзаменов». И действительно, посередине листка красовалась симпатичная сеточка красных жилок. Приписка: «Сдала благополучно».

Белый конвертик высывал уголок из груды паке-тиков, фунтиков, сложенных листиков, и его Клаус не сразу заметил. А заметив, немедленно выдернул и прочитал: «Клаусу». Именно так, *Pour Klaus*, а не просто «Клаус». Нора, очевидно, предвидела его проникновение. Ему стало уютнее, словно он услышал дружественный голос. Он лег на постель и развернул бумагу. Почерк был твердым, старательным. Вероятно, Нора переписывала с черновика.

«Милый Клаус, мне горько уезжать и одновременно легко. Горько — потому что мы не сделали последнего шага, хотя к нему шли все эти дни. Потребность ощутить тебя в себе доходила подчас до жизненной необходимости, казалось, что если этого не случится, я умру. И однако этого не случилось. Я уезжаю, не зная твоих ласк обладателя, твоей силы мужа, твоей власти над моим телом. Станным образом, наши движения

друг к другу не совпали: от твоего желания я убегала, при моем желании ты делался нерешителен. Вчера во время нашей последней встречи была секунда, когда я почувствовала себя мужчиной и готова была тобой овладеть — раздеть тебя, преодолевая, быть может, твое сопротивление и стыд, взять твой орган в себя, всосать, высосать. От этих минут остались лишь фразы; читая, ты, наверное, чувствуешь их насильственность и беззастенчивость.

Дора знала о возможности нашей с тобой близости. Она соглашалась на нее с самого начала. Она первая позвонила мне и пригласила приехать к вам в Л... Конечно, ты уже знаешь, в чем причина ее уступчивости, — не правда ли? Она ведь сказала тебе? Я колеблюсь быть до конца откровенной, потому что этот секрет принадлежит мне лишь отчасти... Вероятно, ты теперь уже знаешь, что она не может иметь детей... Мой ребенок был бы также и ее — ты понимаешь? Вплоть до того, что она как бы выбрала отца для моего ребенка... Мы всегда это чувствовали — еще тогда, когда жива была мама и когда она рассуждала о нашем будущем. И уже заболев, она разговаривала с нами таким образом: мужа тебе выберет Доротея, — сказала мама, улыбаясь, словно в шутку. Однако это шуткой не было, ее пожелание отразилось в завещании.

Я слышала однажды, как ты ласкал Доротею. Я сидела на лестнице и плакала, потому что ты был моим в эту ночь, но не со мною. Доротея тебя полюбила, но мне предстояло увенчать эту любовь плодом, — ты понимаешь? Теперь, написав тебе все это, я вижу, что на пути к нашей близости возникло ужасное препят-

ствие, а именно, какая-то намеренность его, словно ты вовлечен в игру без объяснения правил. Поэтому я рада, что улетаю в Рио: не мне разрешать создавшееся положение. И как бы я его могла разрешить? Чувствовать твой вес, тебя, раздвинувшим мои ноги и проникшим так глубоко, что всякое представление о реальности исчезает, и смерть улетучивается, словно детская фантазия? Твоя Нора».

По лицу Клауса текли слезы. Драгоценность его мужескости впервые выступила так ярко. Его семя было на вес золота, началом новой жизни, краугольным камнем счастья! То самое семя, которое он считал за ничто, разбазаривал в минутных содроганиях удовольствия! А теперь громоздились вокруг дома, капиталы, завещания, генеалогии.

Глухой ночью в пустом — заставленном мебелью — доме Клаус заканчивал карьеру мужчины, превращаясь в философа, подводя итог — дойдя до края страницы и не зная, удастся ли, нужно ли писать далее.

«Мой голос слаб, — подумал Клаус. — Мне есть что сказать, но не дано перекричать разносчиков пирожков и лимонада, глашатаев общих мест».

Он лежал на постели под балдахинном, на ошутимо твердом — для здоровья полезно — матрасе. И засыпал умиротворенно, повторяя слова письма. Признав, что не сумеет среди тысяч бумажек отыскать ту, которая ему объяснит тайну сестер. И будущую жизнь его самого, коль скоро она связалась с их существованием.

Перенесенный в сон, Клаус очутился в огромной коммунальной квартире, она казалась ему недосмот-

ренным сновидением, и он мучительно вспоминал начало его, чтобы понять, зачем он тут. Коридор его детства уходил в безграничную даль, двери комнат открывались слева и справа, оттуда выглядывали люди, пары и одиночки. Выглянуло знакомое личико девочки школьницы, он обрадовался, вспомнив, что был тогда влюблен в нее, и она отвечала знаками взаимности, но он не решался.

Кто-то открыл кран, и вода зашумела в трубе, хуже того, это был спуск воды в туалете, с характерным клокотанием 50 годов. Клаус просыпался и ужасался, сообразив, что спит совсем в другом месте и в другую эпоху, что он один в этом доме, но дом не пустой, труба водопровода еще скрипела и жалобно взвизгнула, замолчав.

Он побежал к окну и пытался открыть его, вспотевшие руки скользили, он дергал за ручку панически, хотя за ним не гнался никто. Подумаешь, всего-то кто-то справил нужду в глубине страшного дома и вернулся к себе.

Окно поддалось, и живое молчание ночи его обняло, успокаивало, свежестью веяло от далекого озера, дрожали отражения городских фонарей на воде, и спокойный голубоватый пунктир их висел ярусами на склоне, собираясь в нижнем городе в горсть.

Его решимости дождаться Доротеею как не бывало, он надеялся теперь дожить до утра и бегством спастись. Хотя возможности дома он не все изучил, он едва приступил к библиотеке, чтобы прочитать хотя бы корешки и страницы заглавий. Доротеея ведь знала, что ему не выдержать. Размышляя о странностях жизни,

прислушиваясь ко всем звукам, ожидая, Клаус с облегчением заметил просветлевшую полосу на горизонте, разрезанную темными вершинами. Спасительный рассвет начинался. Он опять уцелел. Впрочем, может статься, никакого риска и не было?

— Можно уже пить чай, — сказал Клаус вслух. Закрыв окно и свет погасив, с облегчением он пробирался по коридору, освещая себе путь телефоном, довольный, что возвращаться сюда не придется. Апартамент Доротеи он закрыл и запер на ключ — торчавший в замочной скважине. Откуда он? Разве он там раньше торчал? Клаус вспомнить не мог. Этот только что замеченный ключ его еще подстегнул. Он поспешно собрал свою сумку и вышел в салон. Там он сидел, радуясь обществу засипевшего кипятильника.

Он выпил чаю. Едва на улице профырчал первый утренний автомобиль, он оставил дом, захлопывая двери и чувствуя возвращение свободы, едва не похищенной чужим прошлым, уже громоздившимся ему на плечи.

На улице его догнал далекий телефонный звонок, настойчивый, уверенный в скором ответе. Он подождал, колеблясь, но вспомнил, что вернуться не может. И пошел облегченно прочь.

Звонок догнал его в поезде.

— Что такое? Клаус, где ты? — слышался голос Норы, удивленный. — Ты уехал?

— Ты не улетила? — спрашивал Клаус, не менее озадаченный.

— Сажу в аэропорту: авиация остановлена! — спешила рассказать она. — Передали, что заработал

какой-то вулкан! Тут еще говорят, что русские сбили какой-то самолет! Сейчас начнется война! Ах, какой ужас: у меня в телефоне кончается батарейка!

— Ты шутишь? — не понимал Клаус.

— Где Доротея? Я буду

Голос Норы исчез. Его ответный звонок не достиг никого.

31

— Алло, Клаус! — кричала Нора в бесполезный теперь телефон. На нее оглядывались скучавшие пассажиры, густо сидевшие на полу, а некоторые уже и устроились полежать и даже заснули. Никто ничего не знал. Некоторые звонили куда-то, другие, открыв *ноутбуки*, рыскали в интернете, ища объяснения.

Вытянув шею, Нора смотрела через плечо сутулого господина. На экране дымились обломки, изображение дрожало, перемещалось. Снимавший, похоже, сам бежал и дрожал. Человек в светлой рубашке возник из обломков самолета, послышался выстрел. Он упал обратно.

— Ради Бога, что это такое?

Владелец ноутбука повернулся к Норе медленно, быстро взглянул ей в глаза и, успокоенный, пожал плечами:

— Крушение польского самолета... Говорят, он задел в тумане верхушку сосны.

Радио аэропорта заговорило рассудительным, успокоительным тоном. Женщина-невидимка извинялась за причиненное неудобство, она брала на себя ответственность, она сочувствовала и обещала исправить

положение. Компания сожалела о том, что мирный исландский вулкан начал извержение пепла. Самолетам лучше пока не летать ради безопасности пассажиров.

Людское море притихло, слушая, а потом опять зажужжало и зарокотало в разговорах. Нора вышла из здания. Небо безмятежно синело. На высоте шли эскадрильи самолетов, должно быть, военных, держа курс на северо-восток. Нора набрала номер Доротеи, но та не ответила. Да и ее собственный телефон пикнул и погас.

Она прогуливалась вдоль стеклянной стены, ожидая, что решение сложится само. Ждать, пока пепел рассеется? В пепле ли дело? Не вернуться ли в Цюрих? Там пропала сестра. Узнать, почему все разъехались.

Возле столиков кафетерия стояла очередь в ожидании кофе. Половину очереди занимал огромного роста мужчина в кожаном пальто. Его лицо показалось Норе знакомым: ну конечно, это был брат пианистки в оркестре Меклера. Концерт вспомнился ей, триумф Доры, кипение белых манишек на черной поверхности фраков. Но вот имя его очень сложное...

Нора не помнила имени Карнаумбаева. Не всякий западный человек сумеет его сразу запомнить. Он вздыхал тяжело и мрачнел, возмущенный известием о пепле вулкана, не веря ему, подозревая, что им подсыпают что-то другое, — он с юности знал, как это делается. Чашка кофе в его пальцах казалась наперстком. Он смотрел на куски торта, выставленные в стеклянном шкафчике кафетерия, и иные подумали, что он примерялся — не съесть ли? Однако он

наблюдал за двумя молодыми людьми, стоявшими у стены неподалеку. Он уже видел их дважды в зале ожидания, отметив, что у них не было багажа, но вида не подавал, что заметил. «Сопляки», — подумал.

Карнаумбаев летел в Америку с новым грандиозным проектом: приватизировать Большой Каньон и что-нибудь с ним сделать великое. Он вынул телефон и набрал номер.

— Надя? Ты где?

— Мы с Лео на озере, загораем на палубе его швертбота, — проворковал женский голос.

— Вдвоем?!

— Ну что ты, право, сразу нервничаешь! Мы же взрослые люди. С нами господин Бауэр и шофер Самсон. Бауэр мне объясняет контракт. Мы завтра подписываем у нотариуса.

— Надя, я улетаю, больше не могу говорить, — голос великана сорвался, он захлопнул крышечку телефона. Взволнованный разговором, сопел.

Парни у стены отличались по виду от пассажиров. Один был в пятнистых солдатских штанах и спортивной куртке, другой носил гражданские брюки и пальтишко, но шапка была голубая солдатская с пятиконечной звездой. Ныне это модная шапка-ушанка, ее любят поклонники Сталинграда. Молодые люди вынули пивные банки из своих рюкзачков и пили от скуки. Они к великану привыкли, он им уже надоел. Растяпа: ему лень оглянуться. Его время жизни подходит к концу. Тогда-то и начнется настоящая жизнь: девочки, рестораны.

Закинув головы, ребята выпили пиво, а когда оторвали жестянки от уст и взглянули, — за столиком уже никто не сидел. Там усаживался совсем другой человек, какой-то баварец в тирольской шляпке с пером! Они выскочили, толкая других, крутились на месте, чувствуя, что им становится страшновато. Упустили задешево, словно нарочно! Теперь их обвинят в саботаже!

Одинокое такси везло с трудом в него поместившегося пассажира на маленький частный аэродром, что в пяти километрах, где пепла и не было вовсе. Там ждал его самолетик на Лондон, откуда вылетал через три часа рейсовый лайнер в Сан-Франциско.

32

— Ах, вот и он! — вскричал Лео, увидев вышедшего из-под лип человека. Надеж приподнялась на локте, и Бауэр повернулся от столика, на котором разложены были листы бумаги, придавленные круглыми плоскими гальками. Самсон занимался буфетом, он только что откупорил шампанское и бокал протягивал Штеттеру.

Клаус помахал им рукою. Он приблизился, насколько позволял край парапета.

— Где же ваши прекрасные компаньонки? — говорил капитан швертбота *Lermontoff*, сложив рупором руки.

Клаусу не давался шуточный тон.

— Нора не может улететь в Рио! — крикнул он. — Доротея пропала.

— Что вы этим хотите сказать? — спрашивал Лео, и голос звучал его странно, утробно.

Клаус развел руками. Сделав приглашающий жест в сторону коттеджа, он сам отправился туда, минуя фонтан, остановившись на миг у бронзовой купальщицы, которую стаскивал в воду — стоит ли напоминать? — козлоногий мальчишка.

В доме не изменилось ничего за эти два дня, хотя показалось, что он отсутствовал месяц. Отрезки времени длятся, а края их словно пропасти. Или вершины, кому как повезет.

Телефон зазвонил, и Клаус к нему бросился.

— Говорит Меклер, — услышал он симпатичный голос с хрипотцой. — Вы появились. Мне только что звонил Лео. Что с Доротеей? Впрочем, я спущусь сейчас к вам.

Столовая наполнилась ими. И Элиза пришла, — ее позвал, разумеется, дирижер, сама бы бывшая флейтистка не осмелилась. Самсон внес корзину с провизией и бутылками, Бауэр топтался у входа с папкой бумаг, Штеттер тут же уселся. Пианистка Семенова шла следом, никак не попадая рукой в рукав платья, которое надо было еще застегивать на длинный ряд пуговиц, а потом она вспомнила, что цветочки купальника просвечивают сквозь него, и она застеснялась.

Лео перебирал свои связи в мире полиции, такие у него тоже водились. Собственно, жизнь состояла из связей — из нитей, протянутых во все стороны мира, и посередине в родовом своем доме жил он с котом и собакой. Толстый канат шел отдельно к Бауэру, и от

него тоже отходили нити, веревки и даже лестницы вверх и вниз. Но он не спешил. Может статься, у Доротеи были резоны исчезнуть? В конце концов, Клаус и она знакомы не слишком давно и ничем, кроме ощущений, не связаны.

— Надо искать! — твердо и решительно произнес Меклер.

— А что сказала Нора? — спросил Штеттер.

— Она не успела... — мямлил Клаус. — У нее кончилась батарейка... Я успел лишь сказать...

— Вспомним Декарта, — сказал примиряюще Штеттер, и Бауэр покачал головой в знак уважения к учености капитана. — Рассудим. Во-первых, времени прошло очень мало. Во-вторых, решение женщины отлучиться могло быть спонтанно, под влиянием слова, жеста, известия. Не так ли, Клаус? Она ведь не ушла в состоянье обиды и стресса?

— Дело в том, что я не уверен. В момент последнего разговора я не знал еще многого...

— Позвольте, господа, — вдруг вмешалась Элиза, и все к ней повернулись почти испуганно, — я приготовлю кофе. Клаус, у вас найдется небольшое количество этого бразильского зелья?

Все облегченно вздохнули. С места возможной катастрофы открылся выход к мирной повседневности.

— Если б Доротея пошла в лес и не вернулась, тогда нужно бить тревогу! Искать! А она ведь, в конце концов, среди людей.

— Фактор времени! Нужно дать ему пройти, — вдруг сказал Бауэр с торжественностью почти ватиканской. — Всё само прояснится, а мы не совершим

преждевременных действий, последствия которых ощущались бы еще долго.

Среди посуды Клауса нашлось только шесть одинаковых чашечек, и он взял себе стаканчик, чтобы не выделить, обделяя, кого-нибудь из гостей. А хозяин может позволить себе отличиться.

Он анализировал свою печаль, стараясь ее если не изгнать, то хотя бы сделать полезной для души. Исчезновение Доротеи обнаружило ее место, возникшее в его жизни. Они становились молекулой. И однако ни природой, ни Творцом не предусмотрено, чтобы мужчина и женщина, встретившись, уже не разлучались бы и умирали вместе. Конечно, люди об этом мечтали и даже возвели в закон, увы, павший. Как всё человеческое.

— Мужчина и женщина образуют молекулу, — сказал он. — Новое вещество.

— Повторение есть лейтмотив, — отозвался Меклер. — А он создает произведение. Чтобы чувствовать, надо вернуться и повторить, узнавая встреченное. Вот источник радости: возвращение.

— Домой, — шепотом добавила Элиза.

— Неплохо бы и закусить, — вмешался Штеттер, слушавший вполуха, оставаясь в радужном настроении удачного дела, довольный тем, что и Бауэр одобрил его выбор пианистки в качестве матери будущего наследника, — разумеется, косвенно, осторожно, скорее в жестах почтительности, какими мажордом ее окружил, чем на словах, — такой фамильярности он бы себе не позволил.

Пожелание Штеттера не прошло незамеченным.

Содержимое корзины выставили на столы кухонный и обеденный. Элиза занялась посудой, вздыхая по поводу скудности выбора. Лишь бокалов разной формы и вместительности было сколько угодно. Вино в них засверкало, и отменное, хотя бутылки вместо красивых и хвастливых этикеток имели простые наклейки с датой и местом сбора винограда. Правда, на пробках выжжено клеймо не простое: *Stätter Estate*.

Клаус поднялся в спальню. На подушке лежала ночная рубашка Доротеи с красной каемкой по нижнему краю. В его груди вдруг возник комок и поднялся в горло, стремясь вырваться прочь рыданием. Клаус его подавил.

Голоса гостей раздавались вдали, Лео и Меклер жарко спорили о додекафонии, а Элиза расспрашивала Бауэра о новом сыре, обнаруженном в Румынии. Мажордом хотел начать его производство на альпийской ферме коз и овец. Дело обещало доход. Умножение богатства было страстью этого молчаливого потомственного протестанта, его симфонией, его женой и детьми.

Их вместе собрало беспокойство о Доротее, а теперь тревога истощалась, как все на свете. Приводившие к ней нити симпатии, не встречая своего предмета, поначалу болезненно переносили отрыв, зарубцовывались, засыхали. Меклер даже подумал, что все-таки постоянство Элизы есть ценность, хотя иной раз и хотелось от него освободиться. И что он делал бы, если б в тот день концерта и успеха Элиза покинула его? Он не был бы столь же мужественен, как Клаус... Лео горевал о Доротее и того меньше, а пианистка испы-

тивала почти облегчение: чем меньше конкуренток ее милovidности и таланту, тем лучше. Только Клаус малодушно предвидел сегодняшний вечер одиночества и печали. «Лишь бы ты была жива», — подумал.

Бауэр посматривал на часы и на Самсона. И наклонился к Лео. Тот покивал головой и тихо распорядился отвезти мажордома в город. Сам он еще задержался с Надеждой, но потом тоже засобирился плыть с невестою на *Лермонтоффе*. Меклер с Элизою пошли по тропинке мало кому известной, поднимаясь по поросшему хвойными деревьями склону. Там пряталась в буйно разросшейся туге калитка в стене, через которую они попадут в парк, окружающий виллу. Этим входом они редко пользовались, и Элизе пришлось поискать ключ в тихо звенящей связке.

33

Особенно обескуражила Клауса быстрота происшедшего. Не годы прошли, как ему казалось, а недели и дни. Так бывало лишь в юности, но тогда время растягивалось, словно жевательная резинка, которой, впрочем, в те тоталитарные годы и не было, она служила символом врага номер один. По враждебности и зависти к американцам с русскими скифами могли сравниться, пожалуй, только галлы. Но этим последним невыносимо сравнение с кем-либо.

Гений Меклера распознал в Доротее сразу то, о чем теперь только Клаус печалился. Она принесла свой талант созерцания, внимательности к предметам и событиям, свое ощущение времени. Свой инструмент,

драгоценный и тонкий, не имевшийся в городском оркестре. Не имевший названия.

Вечер наступал и небо темнело, подножье горы на противоположном берегу опоясали цепочки огней. И оранжевый маяк замигал, предупреждая о возможной если не буре, то все-таки опасном для байдарок волнении. Клаус же чувствовал скорее болезненную пустоту, и он сопротивлялся ей как мог. Поискал книгу среди других и не нашел, налил бокал вина и отпил. И даже малодушно подумал о телефоне: позвонить знакомым, чтоб в его долговую яму грусти бросили веревку симпатии, чтобы голос позвал: — А, это ты?

Под плоской галькой на книжной полке он заметил листок бумаги. Словно кто-то предвидел его затруднение и оставил инструкцию, как поступить. Он тотчас узнал руку Доротей и читал медленно, чтобы не проронить ни крошки смысла, ни буквы:

«И однако дело человечности в целом не совсем безнадежно, судя по результатам торговли компьютерными играми «чемпион добра» (все может исправить и победить злодеев) или «чемпион зла» (неуловимый и непобедимый пакостник): соотношение потребительского выбора 80/20. Четыре добрых и смелых на одного негодяя — не так уж и плохо».

— Милая Доротей... — сказал Клаус вслух. — Вот чем она интересовалась рядом со мной. А я и не знал.

На обороте листка было написано: «И вдруг все накопленное, продуманное, записанное начинает кружась, опускаться в некую воронку и, всхлипнув странно, исчезает».

Бегущими буквами далее было:

«Не хочу никакого прошлого! Хочу жить здесь и сейчас!»

Клаус имел в запасе оружие против ночной тоски: рубашку Доротеи с красной каемкой. Он накинул ее на плечи. Едва уловимый запах духов Доротеи ласкал его обоняние.

Ничего нельзя изменить, спасти и улучшить, подумал он. Это юность легко воображает себе реформы. Пока зрелость не обнаруживает поток существования, несущий тебя, песчинку и муравья. Постоянство, впрочем, почему-то приятно. Как вечерний и утренний звон колокола в церкви, хотя на него уже не отзовутся шаги горожан.

Клаус задремывал. Слух его нежился плесканьем воды о берег. И фонтан с бронзовой нимфой, невидимый, дарил успокаивающее журчанье струи.

Ему послышался во сне грохот мотора, и он неприязненно подумал о мотоцикле, враге тишины и друге гордости. Даже ему показалось, что кто-то приехал и вошел в дом, и ему снится. В свете, падавшем сверху, он увидел идеально круглую голову, он от ужаса застонал и пытался бежать, но не слышались ноги, как и должно быть во сне.

— Кто вы? — леденя от страха, спросил он, готовясь к смерти, приподнимаясь на локтях и отдав себе отчет, что не спит. Перед ним стоял человек с круглой блестящей стеклом и металлом головой и в кожаной куртке. Он медлил открыться. Время убийства истекало.

Клаус уже лелеял мысль, что это рассыльный, что он привез пакет, например, от издателя, и в нем что-

нибудь неотложное. Но как он ночью вошел в дом, и почему в нерабочее время? Горизонт за окном не подавал никаких признаков жизни.

Посыльный стащил шлем с головы.

— Нора! — вскричал Клаус, ошеломленный и обрадованный. — Ты не улетела? Что за костюм?!

— Самолеты не летают. Я вернулась домой и никого не нашла. Доротея не отвечает, и нигде ее нет.

От нее веяло силой. Готовностью если не распутать, то разрубить, наконец, узел насмешника софиста Гордия.

Она сбросила тяжелую куртку со стальными заклепками и перестала казаться мужчиной.

— Ты голодна? — спросил Клаус. — Мы вчера все собирались, чтобы решить, где искать Доротею. Там внизу много еды.

— И что вы решили? — с недоверием в голосе произнесла Нора.

— Ничего. Решили ждать, как говорят в Ватикане. Потеряться в Гельвеции можно только в горах. А она просто уехала. Если же она решила... — его голос пресекся, он задохнулся от подступивших слез.

— Но я ничего не знал! Твое письмо, Нора... Это первый свет на вашу тайну!

Нора сидела на краю постели, отклонившись назад, опираясь руками.

— Теперь ты знаешь, — сказала она почти с вызовом. — Теперь ты все знаешь, мой милый, — повторила она ласково и неожиданно хрипло. Она более не опиралась руками, она их раскинула и упала спиной на постель. Совсем близко от Клауса поблескивали глаза, и рот ее

улыбался, и даже в неясном отраженном свете он казался зовущим красным. Он притягивал мужчину, словно магнит железную крошку. Клаус припал к нему в поцелуе, и Нора охватила его голову руками, намереваясь теперь уж не отпускать, пока не выпьет до дна. В безумном порыве Клаус нащупал ладонями грудь Норы и сжал, ошеломленный ее упругостью, горячим уколом сосков.

Он лежал между ее ног и бедер, и Нора сдавила его конвульсивно, то ли желая освободиться, то ли зовя проникнуть в нее. В кулаке она зажала уголок простыни, словно ей нужно было держаться за что-то. Правая рука искала тоже и схватила ночную рубашку. Клаус перевел дух.

— Это рубашка Доротеи, — сказал он, удивляясь себе, словно рот его открылся и сам произнес. Имя упало между ними. Тело Норы вдруг отвердело, но Клаус главного намерения не оставлял, влажный вход ему оставался открытым, он это чувствовал. Тиски бедер Норы лишали его подвижности, и Клаус вспомнил, что теннис и верховая езда входят в число ее увлечений.

— Я желаю тебя... — шептал он. Бормотал: — Я люблю тебя...

— Я твоя... — отозвалась женщина. — Скажи только... *Заг мир, битте, либсте...* Если б ты знал, что жизнь Доротеи... зависит от тебя?

И отчеканила:

— Если ты возьмешь меня — она этой ночью умрет.

Клаус отпрянул. Он не успел помыслить о наличии логической сцепки в сказанном, о возможности ее. Он

сразу поверил этим словам, произнесенным с убежденностью колдуньи.

— Зачем же ты пришла и легла! — в отчаянье воскликнул Клаус. — А теперь еще положила между нами труп!

Нора лежала молча, свернувшись по-кошачьи калачиком.

Он к окну побежал за помощью и с облегчением увидел темно-розовую полосу зари.

На балке строил шевелилась, густея, ленточка начавших свой трудовой день муравьев.

34

Такого Клаус не ожидал. Чтобы зачатие жизни грозило кому-нибудь смертью. Он почти убегал, задыхаясь от крутого подъема, велосипед понукая, словно живую лошадь. С отчаянной силой ноги упирались в педали.

Решать бесполезно, решил он. Воля человека — самая короткая из всех его способностей. Слепой червь вожделения. Пусть тело ведет его. Ему хочется вверх — пусть. Придет же когда-нибудь изнеможение. И все остановится. Успокоится. Прояснится.

Подъем сделался крут, и настолько, что пришлось сойти на асфальт и дальше толкать машину руками. Потом затруднилось и это. Он спрятал велосипед в кусты и поднимался один.

Он давно уже туда намеревался сходить. Из долины видна была белая часовня, ее черепичный купол с крестом. Оберхольцер ее вспоминал ради древности фрески. Дорога привела наконец к подножью ее, где

деревянная стрелка отправляла еще дальше надписью *источник*.

Рассвело. Покой тишины усиливали печальные посвисты птицы.

Он вошел в облачко запахов: парафина, воска, приторно сладкого ладана. Образы теснились на стенах, и весь потолок покрыт маленькими картинами, сценками чьей-то жизни, святой и прославленной.

Посередине висела фигура ангела деревянного, с крыльями золотыми, а напротив прикреплена была на стене фигура тотчас узнаваемого Франциска. Он руки держал разведя. Он получил в этой позе стигматы.

Описания и иконы проявляют здесь неуверенность: то ли ангел то был, то ли сам Иисус. Неудивительно, что трудность разрешилась соединением того и другого: Иисус в образе крылатого серафима награждал святого кровавыми следами гвоздей и копья.

Для полной ясности протянуты были веревки от раны к ране, — они изображали мистические лучи.

Материя на службе у тайны. Только и всего. Однако повсюду.

Все, что мы видим, — сказал себе Клаус, — значит лишь то, что существует и другое, и это другое — главное по отношению к видимому.

Он сел на скамейку и охватил голову руками, помогая себе мыслить. Со стороны он казался охваченным отчаянием. Вот настоящая поза мыслителя, а вовсе не та, знаменитая, прославленный китч.

Люди науки не боятся. Они совершили вычисления и опыты тысячи раз, и результат получался все тот же. Почему это так, они не знают. Они запомнили

последовательность операций. И нашли результату видимый в телевиденье образ. Их бога зовут Биг Банг.

Выйдя из часовни, Клаус увидел еще человека. Вероятно, пришедший подметать и чистить, поскольку рядом с сидевшим на скамейке мужчиной лет пятидесяти стояло ведро и швабра. Он оторвался от созерцанья долины и сказал, улыбнувшись:

— Грюци.

И показал кивком головы на пейзаж: лесистые склоны сбегали на равнину, там краснели черепичные крыши, и край озера поблескивал сквозь туман, в котором висело ярким кружочком солнце.

Их связывал этот миг, это место. Здание, посвященное событию восьмисотлетней давности.

Нас так настроили, подумал Клаус. Мы слышим одну и ту же музыку. Мы тут не при чем. Если б ручку настройки крутили меньше или быстрее, мы сейчас бы грабили банк. Или воображали себя заводилками вселенной. Какой же из всего этого вывод? По возможности, не шевелиться? Не говорить ничего?

— Не вызывать ни в ком страха, — сказал мужчина, повернувшись к нему. Он встал и простился. Взял ведро со щеткою и исчез за дверью часовни.

Страх убивает свободу, подумал.

И начал поспешно спускаться, зная, что пришел день разрешения лабиринта. Показался выход, светлый его квадрат. Никаким художником не нарисованный. Туннелю конец.

Велосипед его дождался в кустах. И уже дальше Клаус почти летел, надеясь, что навстречу не попадет автомобиль. Тормоз не спас бы его от разгона пятидесяти километров. Его счастье было с ним: он вылетел на равнину, шоссе выровнялось и начало подниматься, и он мог вздохнуть свободно. Там, где начиналась проселочная дорога, ответвлявшаяся от проезжей асфальтовой, к ограде привинчены были почтовые ящики. Клаус устремился и открыл ящик, — чего раньше не делал.

Поверх разбухших от влаги конвертов — и зачем они здесь — лежал один ослепительно новый. Пришедший сегодня.

С картинкой: европейский Фудзи был на ней изображен, то есть Везувий, с такою же романтической дымкой. Адрес, написанный рядом с вулканом рукой Доротеи.

Руки его дрожали.

«Любимый.

Позволь мне назвать тебя так. Правда, я не знаю, насколько это соответствует действительности. Я хочу этим сказать, что в минуту, когда я пишу тебе здесь, в Неаполе, в полупустой гостинице, ты самый близкий мне человек на земле. Раньше я никогда не чувствовала подобной родственности, — не обычной семейной, от которой нельзя убежать, а предельно глубокой, — о ней люди мечтают... Впрочем, мечтали бы, если б им рассказали об этом.

Нора тебе всё объяснила, мой дорогой? Очень надеюсь, что ваши отношения достигли уже той интимности, когда секреты более не имеют смысла и места.

Так вот, от общего числа приезжающих к этому врачу пациенток — половина лечений успешна. В какой половине я окажусь?

Библия обнадеживает — в том смысле, что сначала Всевышний удручает бесплодием Сарру, а потом меняет гнев на милость и дарит зачатие. Страстное желание иметь младенца тоже от Бога, не правда ли?

Нора тебе объяснила драму нашей собственности. Положение настолько каверзно, что я боюсь доверить его бумаге, — здесь не в понятиях только, не в фактах и факторах, а еще в полутонах, в том, что мой шанс недостижим без унижения, которого я должна еще желать и принимать добровольно! Нора великодушна, надеюсь, до конца...»

Коттедж был пуст. От Норы осталась записка с «целую» и адресами и телефонами в Рио. «Теперь ты знаешь, почему ты должен приехать», — приписала она.

Он спохватился: у него не осталось никаких фотографий сестер. Ни его самого с ними вместе. Только одна, плохонькая, — в толпе вокруг Меклера после концерта. Нору и Клауса почти скрыл тромбонист Пфицнер, а Доротей стояла несколько скованно, явно не в своей тарелке, выделяясь из кипенья манишек гордой посадкою головы.

Доротее стояла одна на берегу моря. Теплый был вечер, волны ластились к прибрежным камням. Огоньки поселений тянулись, мерцая, по берегу к подножью Везувия и поднимались по склону почти до самой вершины. Приятный мужской баритон пел неаполитанскую песню, грустя, под наплывом чувства. Или, может быть, репетируя и упражняясь в виду объявленного назавтра концерта в театре пригорода, где располагалась знаменитая клиника-пионер доктора Строщи.

Впрочем, сам доктор, почувствовав приближение старости, жил в отдалении, посвятив остаток дней страсти коллекционирования: он ездил на аукционы костей динозавров и других зверей той далекой эпохи.

Клиникой и женским бесплодием занималась его верная дочь доктор Бьянка, старая дева. Доротее предстояла встреча с ней; утром определится шанс попасть в лучшую или другую, роковую половину. В проценты удач или слез.

Перипетии сестры она знала, и теперь думала, что Клаус письмо ее получил и спокоен. Она ощущала, что ей сил неостанет говорить с ним или с Норой, вновь объяснять, может быть, что с ней происходит, — она не смогла изложить в двух-трех экономных фразах, а на импрессионизм чувств ее не хватило б.

Конечно, их линии жизней сошлись в перекрестке судьбы. Или, может статься, самого Провидения, — оно казалось Доротее важнейшим, языческий Фатум себе подчинившим.

Наутро Клаус сложил свои вещи в рюкзак. Окно распахнув, он стоял и смотрел на озеро, еще подернутое утренней дымкой. Он чай отпивал из кружки и наслаждался смесью чувств, столь знакомой в судьбе беглеца, чужака, гражданина вселенной: грустью покидания места, столь к нему дружелюбного, и облегчением освобождения от едва не начавшегося повторенья хлопот, маленьких удовольствий, стирающихся монет отношений. Вновь он был открыт свежести ветра и трепетности надежды на непредвиденное.

Ключ от коттеджа опущен в почтовый ящик хозяина.

Клаус сначала пошел по берегу, намереваясь приблизиться к цепи озер, образовавшихся на реке со времен средних веков, когда тут строили мельницы, потом замененных на плотины маленьких электростанций. Затем его ждал лес и тропы лесные, проторенные гильветами за последние триста-четыре-ста лет. Потом он пройдет небольшой перевал, откуда виден прекрасный пик Доротеи, и спустится в деревню великого отшельника, там подвизавшегося в скудости средств, в непрестанной молитве. Клаус надеялся там обнаружить в себе готовое, очищенное от всяких сомнений, решение для дальнейших действий.

Элизе стало скучно от равномерного дыхания Меклера, погрузившегося в сиесту. Она вышла на привычную во всех отношениях прогулку, ставшую необходимой, как умывание, как чашечка кофе, как колкость маэстро. Чистенькая дорожка огибала стоявший по соседству трехэтажный особняк, где люди появлялись редко, и даже она не знала, кто они и зачем приезжают. Далее начиналось поле, куда фермер-сосед Бруно выводил пастись овец с колокольцами, а потом и фонтан появлялся: с бронзовой купальщицей 30-х годов. Город счел ее для себя чересчур обнаженной, опасной для нравственности протестантов, но здесь, на частной земле, уместной и нужной, поскольку деньги скульптору были уплачены, и часть их вернулась в городскую казну из бюджета коммуны: как-никак, произведение имело известную ценность.

Затем Элиза пересекала поросший деревьями угол парка и выходила к ступеням бетонной лестницы и деревянного настила, установленного на сваях вокруг ботхауса. Здесь она любила проводить семейство лебедей, устроившего гнездо почему-то чересчур близко к воде, собственно, на воде, в протоке между зданием и берегом. Бывшая флейтистка себе говорила, что природа сама знает, что для нее лучше.

Похоже, в том месяце мае природа ошиблась. Оба взрослых белоснежных родителя были тут, и маман, торопясь неуклюже, подбирала и подкладывала уплывавшие сучья гнезда, а с крутого берега продолжала стекать вода ночного ливня. Из шести новорожденных уцелело всего два, пищавших, топтавшихся среди

плававших веточек. Лебедь-мать зашипела на Элизу, по-гусиному угрожающе вытягивая шею, вообразив себе новую опасность.

— Я так и думала! — удрученно сказала Элиза. — Эх вы, родители! Четверых потерять!

Впрочем, Элиза смягчила упреки в их адрес, решив, что пара, скорее всего, молодая, может быть, это их первый опыт. Да и лебедей в округе чересчур все-таки много, просто избыток, и природа принимает меры к сокращению деторождения у этого вида пернатых, отнимая у них осторожность. Природа мудра.

На этом можно бы и поставить точку. Пока! Приятно, однако, еще на несколько минут задержаться, пройти с Элизой по берегу, выйти к коттеджу, подняться по тропинке и заглянуть на террасу. Стукнуть в дверь Клауса и убедиться, что дверь заперта и велосипед отсутствует, — вероятно, он поехал в город или, может статься, отправился за продуктами в предместье. Продолжить подъем, дыша с затруднением, через островок сумрачных елей, а затем одолеть склон, заросший травой и покрытый лютиками и гиацинтами, там и тут согнувшимися под тяжестью шмелей и пчел, собирающих мед.

Luzern-Paris



Franc-Tireur
USA

Адрес издательства
franctireurusa@gmail.com

Заказать книгу
<http://www.lulu.com/spotlight/FrancTireurUSA>

Купить книгу в Париже
Les Editeurs Réunis
11 rue de la Montagne Sainte Geneviève Arr. 5°
M° Maubert-Mutualité
tél. 014354 7446



ISBN 978-1-105-80824-1 90000



9 781105 808241